

Иосиф Циммерманн

Ёськин самовар



Иосиф Циммерманн Ёськин самовар

<https://litres.ru/74673394>

SelfPub; 2026

Аннотация

На пороге совершеннолетия душа молодого человека бурлит, мечется, ищет — себя, дорогу, смысл жизни. Это сложный, подчас мучительный процесс. Даже мозги, как говорится, закипают от переживаний.

Семнадцатилетний Ёся, парнишка из глухого казахстанского поселка, где жизнь течет неспешно и почти беззвучно, решается на шаг в неизвестность — уезжает жить в большой город. А там все другое: улицы, лица, ритмы.

Символично, что именно на знаменитом тульском самоварном заводе начинается его период «самоварения» — внутреннего кипения, формирования, обретения себя. И как символ всего, что с ним происходит — однажды он сам собирает настоящий самовар. Свой первый. И единственный.

За один год он пройдет путь от ученика токаря до рабочего корреспондента, от вчерашнего мальчишки до кандидата в члены КПСС.

Это роман о взрослении в эпоху, когда личный выбор был тесно переплетен с велениями времени. О том, как ищет себя

человек — на фоне грохочущего цеха, затянутого горизонта и далекой, но родной мечты.

Иосиф Циммерманн

Ёськин самовар

Об авторе

Прекрасное Далеко,

Не будь ко мне жестоко,

Не будь ко мне жестоко,

Жестоко не будь.

От чистого истока,

В Прекрасное Далеко,

В Прекрасное Далеко,

Я начинаю путь!

Автор: Юрий Энтин

Родом из многодетной немецкой семьи, чья история неразрывно связана с Поволжьем и Казахстаном. Он вырос в мире, где память о предках хранилась не в книгах, а в устных рассказах у семейного очага. Национальная литература была тогда полностью запрещена, а каждое слово на родном

языке звучало как шепот сопротивления, как свеча в темноте забвения.

Его путь был во многом предопределен временем: в годы горбачевской перестройки мужчина окончил уникальный факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища — кузницы военных корреспондентов, где закладывались не только основы мастерства, но и умение видеть историю сквозь призму судьбы человека.

Но, несмотря на блестящие оценки, путь офицера оказался для него тоже закрыт. Судьба отвела ему иную, не менее важную миссию — быть летописцем своего народа. Корреспондент газеты советских немцев «Нойес Лебен» и руководитель пресс-центра Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение», он посвятил себя исторической прозе, в которой оживают судьбы его соотечественников — людей, словно звенья одной цепи, соединяющих прошлое, настоящее и будущее.



Произведения Иосифа Антоновича — не просто книги. Это голос памяти, зов предков, уходящий в вечность. Это не просто литературное творчество, а попытка сохранить голо-

са ушедших поколений, передать их боль, радость, надежды и мечты. Через судьбы своих героев он воссоздает страницы истории, в которых отражаются трагедии и подвиги его народа — от первых немецких поселенцев в России до вынужденных скитаний и утрат XX века.

Пролог

Ему приснился вокзал. Не тот, на который он когда-то прибыл, и не тот, с которого предстояло уехать. Это был вокзал вне времени, затаившийся в тени между памятью и будущим.

Сквозь приглушенный гул голосов и протяжный вой далекого тепловоза к нему приблизилась старая цыганка. Волосы ее были белесые, словно тронутые инеем. Лицо — резкое, будто вырезанное ножом по сухой древесине. Беззубый рот смаковал мундштук махорочной трубки, из которой в такт дыханию тянулись сизые струйки дыма. Они поднимались вверх, складываясь в причудливые образы — то ли лица, то ли силуэты, то ли знаки.

Смуглая странница с тяжелыми кольцами серег в ушах смотрела на него пристально — взглядом тех, кто видит насквозь: через плоть и страхи, прямо в самую суть.

— Тебе повезло — не каждый меня может встретить. — произнесла она. — Ясновидящая Рада тебе все расскажет — что было, что будет, чем сердце успокоится.

Ее голос не был ни добрым, ни злым. Он звучал холодно и неотвратно — как само дыхание судьбы.

Седая цыганка опустилась на пол — гладкий, отполированный людским потоком, как камень на перекрестке дорог, — и устроилась, подмяв под себя ноги, с покоем степной женщины у костра.

Иосиф хотел было сделать шаг назад, но ноги сами двинулись вперед. Не осознавая как, он оказался на полу напротив — будто рухнул туда, подчиняясь чужой воле, и протянул правую руку.

— Не эту, — резко бросила Рада. — Левую. Ту, что ближе к сердцу. В ней больше правды.

Он повиновался. Ее холодные пальцы сомкнулись на его запястье, и она, не отрывая взгляда от переплетения линий, прошептала:

— Младший... В доме, полном детей и горя. Очень, очень рано наказанный судьбой. Душа без пристанища, без родных, без крыла, без права на детство.

Твой отец — сгорел изнутри, в легких жил пепел. Твоя мать — страшно угасала, пока боль не съела ее целиком. Ты все это видел. Бедненький...

Иосиф не дышал.

— Братья... Сдали тебя. Как вора. В наручниках, с бумажкой. Не по злобе и нужде — от лени. Не хотели возиться с тобой. А больше всего — боялись, что село их за это осудит.

А ты — бежал. И тебя приютила та, кто тоже одна. Старая. Но с душой, похожей на твою. Ваш дом был тихий, хлеб теплый, куры накормлены.

Но и там ты стал лишним. В твою вторую мать вселился дух. Не злой. Справедливый. Он шептал ей ночами: “Не держи его. Он не твой. Он пойдет дальше.”

Рада оторвалась от его ладони и встретила с ним взглядом.

— Ты хочешь остаться. Но дорога зовет. Твоя дорога. А боль — она не позади. Она — твой проводник. Поезд уже близко. Ты ведь все равно оглянешься, мальчик мой... хоть и знаешь, что не надо.

Послышался гудок приближающегося состава. Металлический вой, обволакивающий сердце. Спящий хотел что-то спросить, но проснулся...

В августе Иосиф получил свой первый аванс. Это было немного, но все же больше, чем сиротская пенсия, которую с лета перестали платить. Он больше не числился учащимся — значит, помощи от государства не жди.

Раньше деньгами распоряжалась баба Маля, как официальный опекун. А что теперь? Он будто предчувствовал неладное. Почему-то радости от заработанного не было. Десятки рублевых купюр в ладонях казались чужими — они вселяли неуверенность и тяготили.

Он осмелился спросить почти шепотом:

— Баб Маль... и эти тоже вам отдавать?

— Нет. Они твои — распоряжайся сам, — глухо ответила она и вышла из комнаты.

С тех пор в доме все изменилось. Баба Маля перестала готовить еду на двоих, стирала только свое, практически не разговаривала с ним.

Он ждал. Надеялся, что все наладится. Но лед только крепчал. Работа в стройбригаде помогала держаться. Руки были привычны к тяжелому труду, и вскоре он смог перекрыть старую крышу — ту, что давно просела над курятником. Помогали одноклассница Ира и ее мама Ида. Они втроем месили глину босыми ногами, утрамбовали ее на перекрытии. К полудню кровля сияла под солнцем — новой, еще не высохшей глиняной шапкой.

И баба Маля, казалось, смягчилась. Она приготовила ароматный плов. Во дворе накрыли на стол. Были и тосты, и похвала от гостей. Но все перечеркнула одна фраза хозяйки:

— Размазня ты, Ёся... Мужики не сидят в хате, не ревут над школьными фотографиями...

Он попытался объяснить, что скоро достанет кирпич, обложит дом, сделает чердак.

— А ничего, что это моя хата? — резко перебила она. — Не забыл, кто ты тут есть?

А потом — последнее:

— Мой внук из армии возвращается. Жениться собирается. Где ему прикажешь жить?

Иосиф молча собрал вещи: пара рубашек, сандалии, книги. Вышел, надеясь, что баба Маля его остановит. Не остановила.

— Надеюсь, мои трусы не прихватил? — крикнула она ему в спину.

За калиткой он обернулся. Дом стоял аккуратный, беленый. На крыше — новая глина. По двору пасутся курочки. Парнишка вкладывался здесь «как для себя» — с душой, с сердцем. Но теперь понял: горбатого к стенке не приставишь. Он — сирота, не здешней крови. Приютили — позволили посидеть и согреться. Ступай дальше...

Иосиф двинулся в сторону вокзала. А баба Маля, глядя ему вслед, вдруг сказала:

— Мы обязательно с ним помиримся. Но сначала пусть уедет. Будущего у него здесь нет...

Свои из Гуссенбаха

Was in der Jugend Wurzel schlägt,
das trägt die Blüte im Alter.“

— Friedrich Schiller

(То, что укореняется в юности,
расцветает в старости.)

Плацкартный вагон жил своей обычной, шумной и суетливой жизнью. Люди разворачивали котомки с домашней снедью, разливали чай из граненых стеклянных стаканов с подстаканниками. Некоторые неспешно потягивали пиво, закусывая сушеной рыбой, и увлеченно спорили о спорте.

На боковых местах мужики с громкими хлопками выкладывали кости домино, сопровождая каждый удачный ход до-

вольными возгласами. В дальнем углу кто-то азартно раскидывал карты, сдвинувшись тесным кружком.

На верхних полках дремали утомленные дорогой пассажиры, а где-то ближе к тамбуру молодой парень с гитарой негромко пел песню ставшего популярным Высоцкого. Его голос, чуть хрипловатый, но уверенный, пробирался сквозь общий гул вагона, и один из сидящих рядом даже невольно подхватил знакомый мотив.

Поезд мерно постукивал по рельсам, а жизнь в плацкарте шла своим чередом, смешивая в одно целое судьбы, разговоры, ароматы еды и звуки гитарных переборов.

Иосиф заплатил за постельное белье, принял из рук проводницы аккуратно сложенный сверток и ловко застелил свою полку. Движения были быстрыми и уверенными — матрас разгладил, подушку встряхнул, одеяло расправил и заправил так, словно делал это не впервые.

Парень действительно за неполный год уже в пятый раз проделывал путь на поезде Ташкент—Москва. Зимой их выпускной класс ездил по турпоездке в заполярный Мурманск, а летом Иосиф, по настоянию военкомата, отправился поступать в Тульское артиллерийское училище. И все — через Москву. Вот и считайте: дважды туда и обратно — уже четыре поездки. Этот путь он преодолевал за удивительно короткий срок теперь в пятый раз.

Его попутчиками оказалась очень многодетная рыжеволосая семья, с лицами, усыпанными солнечными веснушка-

ми. Даже их весьма престарелый дедушка был конопатым, а седина едва пробивалась сквозь медные волосы бороды. Наголо выбритую голову он прикрывал аккуратно посаженной узбекской тюбетейкой.

Шумной гурьбой эта говорливая немецкая Sippe (в переводе — род, клан) буквально оккупировала добрую половину плацкартного вагона.

В том, что это были немцы, Иосиф даже не сомневался. Он догадался об этом в первые же минуты, как только вошел в поезд. Практически на каждом купейном столике красовались горки ромбиковой формы крепелей — типично немецкой выпечки. Из разных концов вагона доносились привычные обращения к матерям — «Mutti», и к бабушкам — «Oma».

Их родство подчеркивалось даже в одежде. Почти все — мужчины, женщины и подростки — были одеты в одинаковые синие спортивные костюмы из блестящей синтетики. На груди поблескивали шевроны с символикой спортивного общества «Динамо», придавая всей компании еще большую сплоченность — словно это была не семья, а целая команда.

— Goode Dag! — приветствовал собравшихся в купе Иосиф. В его казахстанском поселке Аккемир все немецкие старушки именно так и говорили. Он сознательно выбрал это приветствие, а не привычный вариант из школьных учебников на Hochdeutsch — «Guten Tag» («Добрый день»), понимая: порой одно слово может открыть сердце быстрее, чем

десятки фраз. На предстоящие двое суток пути ему было важно заполучить полное расположение этих людей.

— Moin! — громко и радостно отозвались в ответ. Это популярное приветствие на платтдойч (Plattdeutsch — нижне-немецкий диалект) не оставляло сомнений: он оказался своим среди своих.

Иосиф, едва перешагнув порог семнадцати, успел заметить, что на вокзалах и в поездах знакомства между пассажирами завязываются практически автоматически. Легко и непринужденно люди открывают свои души, делятся сокровенным, поведую случайно подсевшему незнакомцу свои судьбы.

Вот и попутная семья встретила молодого казахстанца с неожиданным радушием, словно родного. Дед с медной бородой представился Густавом, разрешил обращаться к нему на «ты» и звать просто — опа (нем. дедушка). Не теряя времени, он плеснул себе и гостю в граненые стаканы водки.

— Мы по фамилии Мюллер, — добавил он, слегка кивая в сторону женщин и детей. — Из Чирчика, что под Ташкентом.

Атмосфера в купе сразу стала теплее. Вокруг Иосифа мельтешили дети, а женщина по имени Эмилия, видно, не в первый раз в дороге, деловито хлопотала у столика. Опа Густав уже с любопытством расспрашивал: откуда он, куда держит путь, есть ли родня. Все шло как-то по-домашнему. Дорога представлялась теперь не такой уж и долгой.

— Ты из чьих будешь-то? — спросил дед, прищурившись с легкой улыбкой.

— Циммерманнский, — ответил Иосиф. — Село Шёнхен, Самарская волость.

— Незнакомо мне... Не довелось бывать в тех краях.

— Наши в тридцатые, в голод, спасались в Ставрополе, — сказал он, будто оправдываясь. — Потом их оттуда выслали в Казахстан, а отца в трудармию. Я то сам в Поволжье никогда не бывал. Родился уже здесь, в Аккемире.

Густав нахмурился, нервно провел рукой по своей медной бороде. Помолчал, глядя в одну точку, и заговорил глухим, будто придавленным голосом:

— Голод... Wolga... Ты, сынок, правильно сказал — спасались, retten sich mussten мы. А кто не успел — den hat der Teufel geholt, как говорится. Я тогда был еще ein Knabe, пацан, но so was vergisst man nicht... Люди пухли прямо на глазах. Erst die Katzen... dann собак ели... а потом и вовсе кору с деревьев сдирали.

Он вздохнул, потер ладонью лоб, как будто стирая что-то, въевшееся в память.

— Помню, одна Frau пришла к нам, просила хоть корочку. А у нас самих — две картошки на шестерых. Meine Mutter заплакала, а Vater сказал: «Wenn wir teilen — sterben wir zusammen». И не дал... А утром она уже лежала — tot, окоченевшая, у соседского забора.

Голос его осел. Даже дети притихли, уловив что-то неве-

домое, взрослое. Густав налил еще. На этот раз себе и Иосифу — молча, не глядя. Собеседник понял: это был тост по всем тем, кого больше нет.

— Мне о голоде в Поволжье баба Маля рассказывала. Правда, она мне не родная. Я ж круглый сирота... — голос Иосифа слегка дрогнул. В тот момент сердце сжалось от боли. Он вдруг ясно представил, как Амалия, в стареньком переднике, копает картошку на огороде. Солнце палит, а она, согнувшись, в одиночестве возится в земле — твердой, как камень, иссохшей и потресканной от жары.



Парень молча опрокинул стопку водки и занюхал крепе-

лем, стараясь заглушить ком в горле.

— Она лютеранка. Из Гуссенбаха.

Как по команде, в купе наступила полная тишина. Шумная прежде семья мгновенно стихла, переглядываясь между собой. Даже ложки зависли над тарелками.

— А какой Гуссенбах? — хрипловато спросил опа Густав, прищурившись. — Правобережный или Новый?

В его голосе прозвучало что-то особенное — не просто интерес.

— А разве их было два? — удивился Иосиф. — Баба Маля говорила об одном. Тот, что на берегу реки Медведица.

— Наш! — воскликнули чуть ли не хором Мюллеры, закивав и снова оживленно заговорив друг с другом.

— А как у нее фамилия? — спросил кто-то из женщин.

— Лейс, — ответил Иосиф.

— Соседями были! — воскликнул опа Густав, хлопнув ладонью по колену.

И тут же зааплодировала — считай, что половина вагона: кто хлопал в ладоши, кто стучал стаканами по столу. Повсюду — улыбки, веселые голоса, возгласы одобрения. Шумная радость прокатилась по купе, словно кто-то наконец-то вернул в круг потерянного члена большой семьи. Старший сын Густава, Вальдемар, уже наливал «за встречу», ловко разливая по граненым стаканам. Его жена, Эмилия, с теплой улыбкой пододвинула Иосифу тарелку с нарезанной колбасой и по-доброму словно своему сыну, взъерошила ему чуб.

Один из детей, карапуз с пухлыми щечками и озорным взглядом, без всякого стеснения полез к Иосифу на колени, устроился поудобнее и уставился на него снизу вверх, как будто знал его всю жизнь.

— У Лейсов там, знаешь ли, был полнейший матриархат, — начал Густав, почесав свою медную бороду. — Всего-то два мужика на всю семью, остальное — Frau'n да дефченки... Целая стая. Амалию я, честно сказать, не помню. Хотя наверняка каждый день на улице встречались. Ну, сами понимаешь — дефчата как воробьи: снуют, щебечут... попробуй запомни.

Старик сделал глоток, тяжело выдохнул и продолжил, будто разворачивая перед глазами картину.

— А вот их дед, Иоганн Лейс, — *das war ein Meister!* — человек редкий, на все руки умелец. И хлеб сеял, и дома строил, и по камню стучал, как настоящий *Steinmetz*, а на старости лет еще и вино гнал — свое, домашнее, сладкое. Сам, своими руками, спроектировал их дом. И не абы как, а — добротный! Четыре комнаты, камень дикий, крыша — дерево, как положено. Фсе своими руками.

Глаза у Густава прищурились от удовольствия, будто он снова стоял перед тем самым домом.

— За домом — амбар, хлев большой. А огород... эх, огород! До самой реки тянулся, метр сто не меньше, и грядки, грядки, грядки... и пара яблонь, чтоб детвора в тени балдела.

Бородач замолчал на миг, затем, чуть тише, почти с ува-

жением добавил:

— А у самого берега, на косогоре, он выкопал Keller... не погреб — а шедевр, я тебе говорю. На три части разделен. Ледник — лед там круглый год лежал, с реки зимой западали. Вторая часть — под овощи. А третья... ох, третья — камнем выложена, сводчатая, как в монастыре. Там его вино и дозревало, как он говорил. Звал это — Reifezeit, понимаешь?

Он крикнул, вспоминая.

— Завидовали ему фсе. И свои, и русские из соседних деревень. Ехали, смотрели, учились. Дом, погреб, фсе, что он делал — не просто постройки. Это были памятники. Fleiß und Ordnung — трудолюбие и порядок, вот чем он запомнился. Настоящий немецкий мастер.

— Правда... в голодные годы почти фся их семья — враз сгинула, — Густав посуровел, взгляд потускнел. — Мать, отец, малыши — wie vom Winde verweht... Дом у них забрали: сделали из него контору для колхоза. Пара дочерей только спаслись, да и то — бегством. Куда именно — не знаю, никто тогда особо не рассказывал, да и спрашивать — не принято было. Кто выжил — тот и жил дальше. Остальные — в землю, без лишних слов.

Пожилой мужчина замолчал на секунду, потом продолжил, уже с горечью:

— И как будто одного несчастья было мало, на головы крестьян свалилась новая беда — продразверстка. Пришли

красные, с винтовками, в пыльных шинелях... Вваливались в каждый дом, фсе выгребали подчистую: муку, крупу, последние бочонки с капустой. Ишь ты, «для голодающих городов», говорили. А мы, выходит, не нужны были?

Густав усмехнулся — коротко, безрадостно.

— Не нравится? — рычали. — Так катись в свою Германию! Только вот мы уже не Германия, мы — здешние. Тут родились, тут и умирать приходилось.

Густав тяжело вздохнул.

— В те годы Гуссенбах, наш, будто душу потерял. Село было то большое, более семи тысяч народу. Только в одном селе создали аж три колхоза. Люди валились прямо на улицах, падали как мухи. Кто еще держался на ногах — выносил мертвых за порог, чтоб место в доме не занимали. Церковная телега, скрипучая, старая... каждый вечер ездила по улицам. Скрип-скрип... И собирала тела — как урожай.

На кладбище — тоже страшно было смотреть. Раньше — ухоженные могилки, с оградками, с именами. А тут... наспех, без отпевания, только бугорок, крест косо прибитый. А то и вовсе ничего. Земля всех принимала.

В купе снова стало тихо, только колеса глухо постукивали по рельсам.

— Я тогда был noch ein Knabe, пацан совсем. Но кое-что... помню хорошо. Как-то подслушал, как родители с бабушками шептались, тихо так, тревожно... Про “каннибалов”. В соседней деревне, говорят, были такие. Я не понял тогда, что

это за слово такое... Спрашивать побоялся — вдруг нагоняй получу. Раз взрослые шепчутся, значит, нам, детям, не положено знать.

Рассказчик осекся, глядя куда-то вглубь своих воспоминаний.

— Потом уж, взрослым стал, прочитал. И знаешь, сынок... ужаснулся. Но в ту же минуту — спасибо родителям мысленно сказал. Что не рассказали про людоедство. Что уберегли от того знания. Маленькому сердцу не надо было знать таких страшных вещей. Нам и так хватало...

Голос его дрогнул, но он быстро собрался. Сделал глоток, снова провел рукой по бороде — привычное, заземляющее движение.

— Вот такие дела были. Не дай Бог пережить еще раз...

— Мой отец умер от туберкулеза. Мне тогда было четыре года, — неожиданно для самого себя начал рассказывать Иосиф. — Мама умерла пять лет спустя. Мне шел десятый. Я — восьмой ребенок в семье.

— Ужас... — не выдержала одна из женщин из семьи Мюллеров и всхлипнула, приложив ладонь к груди.

Иосиф говорил спокойно, почти сухо, как будто рассказывал не про себя, а про постороннего. В его голосе не было жалости — только констатация фактов.

Сирота поведал, как старшие братья сдали его в детдом, как он в тот же день сбежал оттуда, пройдя много километров обратно в родной Аккемир. Рассказал о навязчивой мыс-

ли — залезть в петлю, чтобы все закончилось. О том, как его приютила чужая женщина — бабушка Амалия, и как они вдвоем, она — семидесятилетняя, он — еще ребенок, держались друг за друга.

— Курей разводили, мазанку ремонтировали, картошку сажали... — сказал он, глядя в окно. — Я уже ребенком на базар ездил, торговал. Баб Маля после комендатуры по привычке боялась далеко от села отлучаться.

Он замолчал на миг, потом добавил уже тише:

— Могли бы и дальше жить. И неплохо. Но... что-то на бабу Малю нашло. Побоялась, что я ее дом присвою.

— У нее свои дети есть? — спросил опа Густав, нахмурившись.

— Да, трое. Но в селе только дочка осталась. Баба как-то обмолвилась, что ее старший внук из армии возвращается, жениться хочет. А жить, мол, негде будет. Пришлось мне и уйти.

Наступила короткая тишина.

— А теперь ты куда? — осторожно поинтересовалась Эмилия.

— В Тулу. Я летом туда ездил, поступал в военное училище. Не прошел. Но начальник предложил мне остаться лаборантом кафедры. Год поработаю — и тогда, пообещал генерал, зачислят без экзаменов.

— Это хорошо, — кивнул Густав. — Значит, есть сердце у командира. Значит, не все еще пропало.

Дед потер ладонью бороду, задумчиво уставился в пол. Видно было, как внутри него слова собираются не спеша, одно к одному. Продолжил негромко, почти вполголоса:

— Ты, Junge, только зла на бабу Малю не держи. Я понимаю, больно, обидно. Сам в твоём возрасте не один раз кипел... Но, поверь моему опыту — не все так, как кажется сгоряча.

Переведя взгляд на Иосифа, чуть нахмурился, как будто хотел сказать нечто важное и нужное именно сейчас:

— Хоть и не родная, а сделала для тебя больше, чем многие делают для своих. Приютила, накормила, подняла на ноги. Все, что могла, отдала — не ради выгоды, а по сердцу. А это, поверь, дорогого стоит.

На короткое мгновение в купе повисла тишина, сквозь которую слышно было, как поезд стучит по рельсам — мерно, упрямо, будто подтверждая каждое сказанное слово.

— А что выгнала... Может, ей показалось, что она тебе уже не нужна. Старики, знаешь ли... У них в голове часто мысли как мусор — откуда лезут, сам не поймешь. А может, совсем другое почувствовала. — Он говорил все тише. — Старость — штука хрупкая. Страх быть ненужным, забытым — он душу сжимает. И разум мутнеет. Такое не объяснишь. Только понять можно. Со временем.

Густав откинулся на спинку, взгляд стал мягче, голос — чуть грубее, но с теплом:

— Добрая женщина не может просто так скурвиться. Если

в человеке было настоящее — оно не исчезает, просто прячется под обидами, болью, возрастом.

Береги ее в себе. Не обиду — а память. С благодарностью. Она тебя вытащила из ямы. А ты теперь — иди дальше. И носи ее в себе. Вот и все.

Иосиф впервые за весь разговор слабо улыбнулся. А потом, будто вспомнив, окинув взглядом большую семью, спросил:

— А вы куда это полным составом едете?

В этот момент в купе стало подозрительно тихо. Все Мюллеры, до того оживленные, вдруг притихли и переглянулись. Возникла странная пауза.

— Давайте уже спать, — неожиданно велел Густав, с таким тоном, что возражать не хотелось. — Завтра новый день. Еще наговоримся...

Наш герой проснулся, как всегда, рано. Солнце, поднимающееся по правую сторону движения поезда, уже высунулось из-за горизонта и заливало купе теплым, золотистым светом. Поезд ритмично отстукивал свои километры. Пассажиры еще спали.

Лишь опа Густав сидел на нижней полке, методично набивая махоркой свою трубку. Старец, видимо, почувствовал взгляд Иосифа — повернул голову, кивнул молча, как старому знакомому, и жестом поманил к выходу, в сторону тамбура.

Стараясь не потревожить тишину, они прошли мимо спящих пассажиров и заспанной проводницы, копошившейся у титана, где уже начинала закипать вода для утреннего чая. Вагоны скрипели, гудели, дышали теплом и сном.

Опа Густав прикурил трубку, сделал пару коротких затяжек и, чуть прищурившись сквозь легкую дымку, произнес почти шепотом:

— Хочу тебе одну нашу тайну открыть, Junge.

Иосиф сразу насторожился. Он невольно обвел взглядом тамбур, потом заглянул в окно междвагонной двери. Вблизи никого. Только шум колес и редкие покачивания вагона.

— Мы сваливаем за бугор. В Германию.

Иосиф вздрогнул, будто услышал что-то запретное. Голос его тоже стал почти неслышным:

— А вас... выпустят?

Медная борода старика затряслась от сдерживаемого смеха. Хотя момент вроде бы был не подходящий, но он все равно хмыкнул, глядя на парня с неожиданной теплотой.

— Пять лет назад, — начал он, пуская клуб дыма, — я сам себе это спросил. *Wir lebten damals noch in Sibirien* — в Сибири мы жили. После трудармии на Волгу возвращение нам не было, запрещено, но и смысла особого не было. Так мы и остались. В Минусинске. Прожили там почти фсю жизнь.

Сделав еще одну затяжку, он постучал по трубке ногтем, словно пробуждая в ней память.

— И вот однажды поняли: нам нужно уехать. Ради Kinder

и Enkel. Не für нас самих — уже поздно. А für них. Там, в тех местах, где нас держали только за то, что мы по нацио... национальности немцы, — слово он выделил с еле уловимой горечью, — ничего хорошего не будет.

— Мы тогда съездили в Москву, в посольство ФРГ. Все выпросили, узнали, документы получили. Бумага официальная — *Zusage zur Aufnahme*, они это называют. Германия была готова нас принять.

На миг он замолчал, втянул воздух сквозь трубку, которая затухала. Продолжил уже тише:

— Боялись даже своим сказать... А тут пришлось по фсем отделам Красноярска — конторам, бюро, кабинетам. Справки, разрешения... Фиг вам! Три года бюрократии — и ноль движения.

Усмехнулся, но глаза оставались серьезными.

— Тогда добрые *Leute* подсказали: выехать из СССР можно только с двух мест. Из Чирчика — там быстро, но фсе решается за деньги. И из Эстонии — там дольше, но люди помогают *einfach aus Sympathie*, по-человечески.

Выпрямившись, он постучал трубкой по ладони и заключил:

— Вот мы и перебрались в Узбекистан. В Чирчик. И что ты думаешь? Не прошло и полтора года — и... пошло-поехало. Документы, согласие, выезд. *Wir fahren weg*. Уезжаем.

Взгляд скользнул к Иосифу — внимательный, почти потцовски.

— Это nicht leicht, Junge. Не легко. Но надо. Там — хоть какая-то Zukunft. А здесь, сам видишь... Только горькая, как эта махорка, память про Гуссенбах...

Иосиф долго молчал, глядя в окно, за которым в розовой дымке проплывали лесополосы и спящие деревни. Потом тихо произнес:

— Не знаю, опа... А вы уверены, что правильно делаете? Там... другой язык, другие законы, все чужое. И капитализм — такой, что простому человеку там, говорят, и не вздохнуть.

Густав с минуту помолчал, докуривая трубку до тлеющего конца. Потом скинул пепел, постучал по борту и медленно ответил:

— Я тоже боялся, Junge. До дрожи в паху. Но у нас там давно уже живут родственники. Еще во фрема фойны они на Украине под немцев попали — в оккупацию. Их тогда в Германию вывезли, в рейх. После войны они сумели не возвращаться в Союз. Остались там.

Поднял глаза на Иосифа:

— Они нам пишут. Письма, знаешь ли, настоящие. Не те сказки, что по телевизору фрут. Они про другую Германию пишут. Где порядок, где уважение, где свой язык не стыдно говорить. Где немец — не шпион, а человек.

Замолчал, сжал трубку в кулаке.

— Мы, Junge, ради языка едем. Ради памяти. Чтобы внуки не забыли, что мы были. Здесь, уф нас... немцы скоро из-

живутся как народ. Растворятся. Или заглохнут, как старый колодец. А там — шанс. Маленький, но шанс.

Иосиф ничего не ответил. Он смотрел в окно и вдруг почувствовал, как поезд едет сквозь время, а не по рельсам. Где-то между прошлым и будущим.

— А я ведь наполовину русский. — тихо признался Иосиф. — Мама моя из Ленинграда, немцем был только отец. За год до войны она поступила в пединститут, училась на преподавателя немецкого. После первого семестра попала на практику в Смоленскую область, в пионерский лагерь. Там ее и застала война.

Жила она у старика, вдовца. За жилье помогала по хозяйству. А когда в деревню вошли немцы, всех согнали на площадь. Понадобился староста — мужчин почти не осталось. Выбрали этого старика. Мама, как знала немецкий, стала ему переводчицей.

Фашистов в деревне было мало, только фураж иногда собирали. А партизаны наоборот — все чаще появлялись. Среди них был Василий Морозов, мамин парень еще по довоенному пионерлагерю. Он стал жить у нее. Старик не мешал, жил в бане. Василий даже крышу перекрыл. Так они прожили больше двух лет, пока не пришла Красная Армия. Старика арестовали как пособника. Расстреляли у его же дома. Маму спасло только то, что она уже была беременна. От нашего, от Василия. Только потом выяснилось — весь их партизанский отряд погиб в засаде.

После освобождения маму выслали. В метрике моего сводного брата указано место рождения — Архангельская область.

А потом ее переправили в Магадан. Там она и познакомилась с моим отцом — тоже ссыльным. Сошлись, как говорится, по беде. Мой старший брат родился прямо в бараке. Уже после смерти Сталина им разрешили переехать в Казахстан — на воссоединение с семьей. Моих бабушку с дедом в свое время депортировали туда из Ставрополя. Так мы и оказались в Аккемире.

Густав вздохнул, покачал головой и тихо сказал:

— Ну что я тебе скажу, Junge... Schwere Wege führen oft zu starken Menschen. Тяжелые дороги — они и людей делают крепче. Ты посмотри на себя — жив, умен, душа есть. А все это... лагеря, ссылки, переселения... Мы ведь все как будто пущены по кругу. То нас кидает, то родных, то детей. Каждое поколение сфое несет.

Задумался на секунду, потом добавил, уже с теплотой:

— Но знаешь что? Ты не сломался. А значит — в тебе крепкая порода. И от матери, и от отца, и от тех, кто с Ставрополя в Аккемир попал. Вот таких людей в Германии и ждут. Не за богатство — за стойкость.

Густав уже собирался войти из тамбура обратно в вагон, когда вдруг остановился на полпути, прищурился и, обернувшись, заговорщически подмигнул:

— Ты только никому. Ни слова. Понял? Делай вид, что не

знаешь нашу цель. Я при фсех скажу, будто мы в мавзолей на Красную площадь едем — поглядеть, как Ленин там лежит, не замерз ли.

Иосиф в ответ поднял руку, сделал вид, будто запирает рот на ключ, а потом с серьезной миной кинул невидимый ключ в окно. Густав фыркнул, едва не рассмеявшись вслух, и скрылся за дверью вагона.

Не сидится. Не нейметя. В висках стучит, словно сердце переселилось туда. Дышать тяжело — когда знаешь больше, чем можно сказать. После душевной беседы в тамбуре, разговор в купе как-то не клеился. Все будто отделились, притихли.

Позавтракав наспех, Иосиф забрался на верхнюю полку и прикинулся спящим. Для убедительности пожаловался: мол, с похмелья болит голова — не до общения.

По воспитанию, по заложенному с детства образу мышления, он — пионер, комсомолец, будущий строитель светлого будущего — должен был осуждать семью Мюллеров. Все, чему его учили на линейках, в классах, на сборах, твердило: эмиграция — это предательство, бегство от Родины. Это — шаг назад, слабость, трусость.

На мгновение даже мелькнула мысль: а не найти ли в поезде милиционера и не доложить ли о «тайных замыслах немецких пассажиров»? По закону — обязан. По логике идеологии — единственно правильный поступок.

Но вместо ясности внутри все путалось. Парень не мог успокоиться. Казалось, что он — единственный, кто знает, и потому должен что-то сделать, остановить эту солнечную, шумную, конопатую семью, прежде чем те совершат роковую ошибку.

Они ведь улыбаются, шутят с детьми, умудряются варить яйца у титана, раз за разом меняя кипяченую воду — словно все в порядке. Будто это просто поездка, просто дорога — из одного пункта в другой. Но Иосиф знал: за окном — не просто пейзаж, а приближающаяся граница. Кардон. Черта, после которой — нет пути назад. После которой начинается другая жизнь. Или не начинается вовсе.

С каждой минутой приближение этой черты ощущалось все острее. И каждый их шаг, каждый взгляд, каждая сумка или чемодан, каждая сдержанная реплика — все это било в душу Иосифа тревожным набатом: остановитесь! Одумайтесь, не идите дальше. Еще не поздно. Еще можно свернуть...

С другой стороны, память, как упрямая река, вытаскивала свои обломки. Он вспомнил, как еще в школе, кто-то из одноклассников в ссоре бросил ему:

— Недобитый Фриц!

В другой раз обозвали фашистом — просто так, потому что фамилия звучала не по-русски, потому что «немец».

Он ведь и сам играл в войнушки, бежал с палкой-автоматом, крича русское «Ура!» против выдуманных гитлеровцев.

Он был на стороне «наших». Хотел быть своим. Всегда...

Невольно всплыли воспоминания о первом паспорте. Ученикам 9А паспорта оформляли по алфавиту — вызывали группами прямо с уроков в сельсовет. Возвращались возбужденные, обсуждали новые отчества:

— Мырзашевна! — хихикала Служан.

— Анар Мухамбеткалиевич! — громко выговаривал высокий парень.

— Жаляйка Мергенбаиха! — пищала девочка в платке.

— Джамиля Мергенбаевна, — поправила ее Рашида Шуреновна. — Иосиф, твоя очередь.

— А почему один? Он что, особенный? — вскинулась Таня Ткаченко, внучка крестной Иосифа. Она всегда ревновала: ее бабушка — известная пирожочница у ступень школы — угощала Иосифа бесплатно, а с родной внучки брала деньги. Никто не знал, что накануне он почистил крестной свинарник.

Иосифа не смущало: фамилия на «Ц», значит — в списке последний. Циммерманн — всегда в конце.

В сельсовете его встретила председатель Тамара Васильевна Маленкова.

— Вымахал, Еська, как на дрожжах, — осмотрела его. — Варенье бабки Мали на пользу пошло. До сих пор помню, как ты в могилу за гробом мамы упал...

Он промолчал.

— Нелегко быть немецкой сиротой, — добавила она. —

Держись. Мы тебе поможем.

Затем, будто между прочим:

— Сменить бы тебе национальность. Русским легче живется.

— Это как у бандитов — все изменить, чтобы следы замести, — пробормотал Иосиф.

— Твоя сестра Катя — молодец, записалась русской.

— А фамилия?

— Девушке фамилия ни к чему — замуж выйдет, возьмет мужнюю. Хочешь, мы тебе поменяем — будешь Долгарев — по матери? Или Яковлев — по отцовскому отчеству. Или сам придумай.

Иосифа передернуло. Чиновник предлагала не просто обман — переписать судьбу. Зачем?

Позже, в Доме культуры, в зале выстроились оба девятых класса. Иосиф был в новой рубашке — редкая вещь, купленная на базаре. Он волновался не из-за документа — из-за всего, что ждет впереди.

Но когда собрался ступить на сцену, Тамара Васильевна преградила путь:

— Тебе сегодня не светит. Паспорт не готов. Отойди.

Одноклассники поднимались на сцену под музыку, улыбались, получали заветные документы. А он стоял в стороне. Было горько. Впервые остро ощутил, что он — не как все. На миг даже пожалел, что не согласился на смену национальности и фамилии.

— А нужно ли мне такое будущее — безродное? — зло подумалось.

Паспорт выдали спустя полгода. Кто-то мимоходом сказал:

— Забери уже. Валяется в сельсовете.

Маленкова не ответила на приветствие. Подала документ молча.

Иосиф открыл — на фото он сам, только взгляд чужой. В графе национальность стояло: немец. Сердце забилося быстрее. Ошибки: «Иосип Цимерман».

— Мое имя с "Ф", — заметил он.

Председатель зачеркнула «П», написала сверху «Ф».

— Доволен?

— И фамилия неправильно. Надо две «М», две «Н».

Маленкова раздраженно вскинула голову:

— А ну пошел отсюда! Мне еще не хватало ваши немецкие фамилии тут зубрить!..

Иосиф лежал на верхней полке плацкартного вагона, прикидываясь спящим, а в голове бушевал ураган. Внизу, в том же вагоне, из его страны уезжала большая немецкая семья. Осудить? Понять? Предать? Промолчать?.. А вдруг им действительно повезет? Вдруг там, за границей, они наконец обретут то, чего лишили и их, и его семью — право быть просто собой...

Как будто читая его мысли, опа Густав в этот момент что-

то втолковывал своему внуку — карапузу с пухлыми щечками и озорным взглядом. Говорил по-немецки, назидательно, почти торжественно:

— Zweige kann man abschneiden, den Stamm kann man biegen – aber die Wurzeln erinnern sich, woher sie stammen.

— Это по-нашему, — перевел он уже для всех, — Ветви можно обрезать, ствол можно согнуть — но корни помнят, откуда они. Такое вот немецкое словцо... Старики раньше часто повторяли...

Московский рассвет

Неизвестный путч 10 сентября 1982 года

Тьма окутывала Кутузовский проспект. Часы показывали 03:17, когда из грузовика ГАЗ-66 выгрузились бойцы спецназа МВД — отряд «Шторм-5» под командованием полковника Сергея Огаркова.

В нескольких дворах дома №26 рабочие без знаков отличия устанавливали бетонные столбы, отрезая пути отхода. В соседних дворах слышен глухой скрип ручной пилы. Ветви летят вниз, освобождая линии обзора для будущих стрелков.

— Начинаем, — шепчет в микрофон Огарков. — План «Гроза». Цель — нейтрализовать объект «Омега».

Объект «Омега» — генерал армии, глава КГБ. При дряхлом генсеке КПСС он уже практически хозяин страны и теперь готовится формально занять его место. МВД решает ударить первым.

Пока одна группа окружает дом №26, вторая — под ко-

мандованием майора Кулакова — выдвигается к Лубянке. Задача: до рассвета взять под контроль здание КГБ — мозг и сердце государственной безопасности. В распоряжении группы: шесть БТРов, три автобуса с бойцами и две машины «Рысь» с глушилками связи.

Но у КГБ — свои уши повсюду.

04:06. На Кутузовском неожиданно гаснет освещение. Одновременно на пересечении проспекта Мира и Сретенки вспыхивает ослепительный свет фар. Из Капельского и Безбожного переулков вырываются 24 черные «Волги», окна затянуты бронепленкой.

Из машин выскакивают бойцы управления «Север» — элитного подразделения КГБ под командованием генерала Павла Птицына, лично преданного своему руководителю.

— Сигнал! — рычит Птицын в рацию.

— Пошел-пошел-пошел! — раздается в наушниках у спецназа МВД.

Во дворах дома №26 начинается хаос. Вспышки, крики, короткие автоматные очереди, выбитые окна. На крыше соседнего дома снайпер госбезопасности находит в прицеле Огаркова. Выстрел. Полковник падает навзничь.

— Командир — двести, — звучит в наушниках у МВДшников.

Паника. Отряд «Шторм-5» начинает отход, но арки уже перекрыты блокираторами, а бетонные столбы не дают вывести бронетранспортер. Один из бойцов бросает гранату и

получает осколок в шею.

04:28. Лубянка. Майор Кулаков с группой входит через черный ход в здание КГБ.

— На лифты не садиться! Только лестница! — командует он.

На пятом этаже их уже ждут. Газ. Светошумовые гранаты. Шквал автоматного огня. Из вентиляции — странный вой: глушилка работает в обратном режиме.

— Нас ждут! Это ловушка! — кричит кто-то.

Через семь минут трое бойцов убиты, шестеро обезоружены. Остальные — в наручниках. Кулаков, истекая кровью, тянется к капсуле с ядом, но его скручивает молодой лейтенант госбезопасности Зернов.

06:00. Кремль. Мужчина преклонного возраста в сером полосатом костюме и галстук смотрит в окно на утреннюю Москву. Рядом — генерал Птицын.

— Ну что, Павел...

— МВД потерпело поражение. Огарков ликвидирован. Кулаков задержан. Остальные сдались.

— Связь?

— Полностью отключена. По всей стране. С 5:30.

— Прекрасно, — усмехается штатский. — Побеждает не тот, у кого больше оружия, а тот, кто владеет информацией...

Неизбежная осень, перевернув очередную страницу календаря, вступила в свои права. Но ее первые, робкие мгно-

вения еще хранили дыхание лета.

Наступившее утро встретило Москву мягкой, почти ласковой температурой. День обещал быть теплым. В воздухе не ощущалось сырости, а солнце, пробиваясь сквозь редкие облака, освещало бульвары и проспекты. Легкий ветерок едва колыхал листву, которая еще не спешила терять свой зеленый наряд.

Столица жила своей обычной жизнью. Ее улицы были полны привычной суеты. Легко одетые москвичи — мужчины в рубашках с закатанными рукавами, женщины в ситцевых платьях и блузках — спешили на работу. Дворники неторопливо подметали тротуары. Дети с ранцами шагали в школу. А у газетных киосков уже толпились горожане, изучая свежие заголовки.

Печатные издания традиционно сообщали об успехах пятилетки и достижениях социалистического хозяйства. Ни больше, ни меньше...

На перроне Казанского вокзала Иосиф прощался с Мюллерами так, словно расставался с родней, которую знал всю жизнь. От каждого — по крепкому объятию, по хлопку по плечу, по короткому, но теплomu слову.

— Встретиться бы нам раньше — я бы тебя охотно усыновил, — сказал на прощание опа Густав и тесно обнял парнишку.

— Береги себя, Ёся! — сказала тетя Эмилия, нежно по-

трепав его по щеке.

— Ты парень хороший, у тебя все получится, — добавил Вальдемар, стиснув его ладонь обеими руками.

— Не теряйся, пиши, если что! — выкрикнула кто-то из старших девочек.

Даже малыши, цепляясь за его рубашку, тянулись обнять. Один карапуз, тот самый, что вчера лез к нему на колени, захныкал — не хотел отпускать.

Иосиф вдруг почувствовал, как где-то глубоко внутри что-то кольнуло... Стыд за ту мимолетную мысль, что еще вчера шевельнулась в его голове — рассказать милиционерам об плане Мюллеров свалить в Германию. Он покраснел, будто кто-то прочитал его мысли.

Они верили ему. Приняли. Кусочек хлеба, место за столом, теплое слово — все это было по-настоящему. И он тоже почувствовал — его сердце прикипело.

— Как и договаривались, — напомнил опа Густав, подзывая к себе старших. — Сейчас делимся на маленькие группы. Без стадного вида. Не все сразу. В разное время — к стоянке такси.

Он оглядел своих и добавил почти шепотом:

— Встретимся в аэропорту. Шереметьево.

Группа начала рассыпаться — кто-то поправлял одежду, кто-то шептал про чемоданы, малыши притихли, будто почувствовали важность момента.

А Иосиф еще раз обернулся. Помахал рукой. И надолго

запомнил этот странный миг: пятница, Казанский вокзал, Москва, прощание с теми, кого он успел полюбить — за одни только двое суток дороги...

Когда шумная группа растеклась по перрону, растворяясь в толпе, Иосиф остался стоять в одиночестве, глядя им вслед. Потом, повесив на плечо авоську, неспешно направился в сторону привокзального медпункта. Он знал, где тот находится — и теперь мог бы найти туда дорогу даже с закрытыми глазами. Как, впрочем, и тогда, в начале июля, когда брел туда почти вслепую — с лицом, распухшим до размеров красного шара. Это была его первая самостоятельная поездка — он ехал поступать в Тульское военное училище.

Тогда все шло по плану... до купания на последок в родной реке Илек. Прыжок, неудачное касание лбом дна — и вот он, новоявленный курсант, вышедший на Казанский вокзал с физиономией, которая больше напоминала переваренный буряк. В зеркало лучше было не смотреть. Люди шаркались, а дети пугались.

Пришлось тогда пробираться в тот самый медпункт — сквозь взгляды носильщиков, полные вопроса, и сдержанное недоумение прохожих.

Медпункт вокзала представлял собой небольшую обшарпанную комнату с низким потолком и тусклой лампочкой, которая лениво мигала в углу, создавая тени на облупленных стенах. Запах старого йода, перекиси и прелой ваты смешивался

вался с чем-то неуловимо аптечным, но не свежим, а давним, застоявшимся.

В углу стояла железная каталка с потрепанным матрасом, укрытым засаленной простыней. Рядом – шкаф с мутным стеклом, за которым угадывались ряды пузырьков, коробочек и бинтов. Большой стол, на котором едва держалась исцарапанная клеёнка, занимал почти половину комнаты. Здесь все было старым, изношенным, но по-своему привычным – словно время в этом месте давно уже застыло.

За столом сидела пожилая женщина крепкого телосложения. Белый халат на ней был далеко не первой свежести, с пятнами, которые уже не отстирывались. Волосы она убрала под тонкий, слегка смятый чепчик, а на носу балансировали массивные очки с толстенными стеклами.

Как только Иосиф вошел, она окинула его быстрым взглядом, мгновенно оценив ситуацию.

— Фурункул, — сухо констатировала она, даже не поднимаясь со стула.

— Здравствуйте, — поздоровался парень, подходя ближе. — Вы можете что-то с этим сделать?

Фельдшер устало хмыкнула, потеревила в руках маленький пузырек из темного стекла с металлической крышкой. Он выглядел слегка липким от многократных прикосновений, а на желтой этикетке можно было увидеть лишь надпись «5%».

— Обработаю йодом и заклею пластырем, — ответила

она, не проявляя особого сочувствия. — Мазь Вишневского на ранней стадии не рекомендую, чтобы не усугубить воспаление. Ихтиоловая и антибактериальные мази в моем медпункте сроду не водились. Тебе надо в больницу.

— И как мне туда попасть?

Женщина поджала губы и сдвинула к переносице очки.

— Боюсь, что в Москве не получится. Тебе лучше по месту жительства обратиться.

— Я из Казахстана, — уточнил Иосиф. — Еду сдавать экзамены в Тульское военное училище.

Фельдшер вдруг оживилась.

— Это совсем другой разговор. Тебе помогут в военном госпитале.

— А как туда добраться?

Женщина задумалась, пробарабанила пальцами по клеенке, потом хлопнула ладонями по столу, будто приняла окончательное решение.

— Я тебя провожу. Надо же нам своим защитникам помогать, — кивнула она. — Подожди вон на стуле. У меня через час ночная смена заканчивается.

Она даже не спросила, хочет ли он этого. Просто поставила перед фактом.

— Чай будешь?

Не дожидаясь ответа, фельдшер полезла под стол и извлекла огромный термос с крупными красными цветами на боках. Медленно отвинтила крышку, и в воздухе потянуло

заваркой, крепкой, густой, с легким привкусом нагарного кипятка.

— Чефир?! — было непонятно, спросил или констатировал факт Иосиф, поморщившись от терпкого запаха, который ударил в нос.

Теперь, попрощавшись с семьей Мюллеров, Иосиф не мешкал. Он знал, куда идти — к уже знакомому медпункту на Казанском вокзале. Не по делу, не за помощью, а просто... увидеть ее. Женщину, которая однажды, в июле, стала чем-то большим, чем просто фельдшер.

Медсестра тогда показала ему дорогу в ближайший к Казанскому вокзалу Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко — старейшее медицинское учреждение, где лечили раненых еще со времен наполеоновских войн. Фельдшер осталась рядом весь день, помогала в походах по кабинетам, а когда его обследовали и прописали таблетки и мази, за окном уже сгущались сумерки.

Матрена Федоровна — так звали эту добрую, одинокую медсестру из привокзального медпункта — приютила Иосифа на ночлег в своей коммунальной комнате, а утром, снабдив сироту скромным провиантом, проводила его к поезду до Тулы...

Иосиф зашел в медпункт на Казанском вокзале, точно домой вернулся. Он помнил здесь все: и стертую до дерева ручку двери, и еле живую лампочку, тускло мигающую под по-

толком, и запах — смесь йода, старой аптечной ваты и чего-то застоявшегося, как будто сама жизнь тут давно остановилась.

Фельдшер сидела у окна, устало откинувшись на спинку старого кресла, обмотанная в вязаный платок. С ее лица еще не сошли следы ночной смены — глаза покрасневшие от недосыпа, а голос сиплый:

— Осип... Представь себе, только вчера арбуз выбирала и почему-то вдруг вспомнила твое бедное лицо — все распухшее, красное... Как тот самый арбуз.

Она усмехнулась — тепло, по-доброму, и смахнула невидимую пылинку с халата.

— Ночью совсем беда была, — продолжила Матрена Федоровна. — Телефон отключили, ни скорую не вызовешь, ни начальству не дозвонишься. Патрулей — как в былые годы. И штатские шастают, нюхом водят, все за кем-то следят. Странно это, Осип. Очень.

— Я вот... привез вам, — сказал Иосиф, протягивая авоську. — Курт, тары, толкан. Все настоящее, казахское. Думал, вам к чаю пригодится.

Матрена Федоровна оживилась. Осторожно выудила из сумки плотные белесые шарики, понюхала один, покрутила в пальцах.

— Это что такое?

— Курт. У нас в степи делают. Из кислого молока творог скатывают и на солнце сушат. Хранится долго, солоноватый.

Крепкая штука, но полезная.

— Умно придумано, — кивнула фельдшер. — А это?

— Тары. Пшено обжаренное, проваренное, потом в ступе толченое и на ветру провеянное. Как крупа. Можно с молоком, можно с сахаром. А толкан — то же, только мука. Ешь, хоть прямо ложкой или со сметаной.

Она улыбнулась уголком рта, вытащила из под крышки стола свою любимую чашку с трещиной.

— Ну, поступил? — спросила Матрена Федоровна, наливая себе крепкого чаю из термоса и с любопытством глядя на Иосифа поверх очков.

Он вздохнул и честно признался:

— Нет... Точнее, я и не собирался поступать. Военком у нас в райцентре уговорил съездить «в командировку» — мол, для расширения кругозора. За счет государства. А экзамены, сказал, можно и завалить. Главное — посмотреть на большой город.

— И ты выбрал Тулу?

— Там служит мой брат. После срочной остался прапорщиком. Хотел с ним повидаться. Думал, хоть какая-то родня... — Иосиф пожал плечами. — Фигня. Мы чужие. Лучше бы выбрал другой, красивый город — тот же Ленинград.

— И что теперь? — с интересом прищурилась Матрена.

— Опять — в Тулу. В артиллерийское училище.

— Не поняла. Ты ж сам сказал — экзамены завалил.

Иосиф кивнул.

— Да. Завалил. А потом — странное дело. Сiju, жду обратный билет... и тут меня вызывают к самому начальнику училища. Генерал-лейтенант. Серьезный мужик. Сам пригласил в кабинет. Говорит, знает мою историю. Предложил стать лаборантом на кафедре. На год. А потом — снова к экзаменам. Без проблем. Общежитие, питание, даже форму обещал.

Он сделал паузу, будто пережевывал все заново.

— Я сказал, что должен подумать... — Иосиф чуть помедлил. — Хотя тогда врал. Хотел остаться жить в поселке. Переживал за бабу Малю. Она уже старая, одной тяжело. Да только у нее — свои планы. Семейные. Внук из армии должен вернуться, жениться собрался. Его невеста из Золотоноша уже с животом. А жить — нeгде.

Парнишка тяжело вздохнул.

— Вот мне и пришлось уйти. Освободить место. А теперь, — он посмотрел прямо в глаза собеседнице, — похоже, другого пути у меня нет. Только в Тулу.

— Все правильно, Осип, — Матрена Федоровна кивнула и, не отрывая от него взгляда, добавила: — Главное — дорога. А уже на ней сам поймешь, куда и зачем идешь.

Она на секунду задумалась, потом вдруг лукаво прищурилась:

— Кстати... а где мой тульский пряник? Я же просила! А ты обещал...

И, не дожидаясь ответа, громко рассмеялась:

— Да я шучу. Минимум пять лет теперь будешь рядом — еще натаスカешь мне целую гору этих медовиков!

— Ты хоть задержишься в Москве? — спросила Матрена Федоровна, заглядывая в лицо парня. — Куда бы мне тебя сводить? Что показать? Я, правда, не фанатка музеев и картинных галерей... Не разбираюсь особо.

Иосиф немного замялся, потом с надеждой в голосе произнес:

— А можно... в мавзолей?

Она удивленно приподняла брови, а потом рассмеялась:

— А почему бы и нет? Мне к ночной смене не привыкать. А ты у нас, по рассказам, жаворонок. Ранний.

— Мавзолей что, по ночам открывают? — удивился Осип.

— Конечно, нет. Но очередь туда лучше с вечера занимать. Сейчас по дороге купим пельменей, позавтракаем или пообедаем, немного поспим. А вечером — термос с чифиром, пару бутербродов — и марш к Кремлю. Глядишь, завтра к открытию будем первыми. Я, между прочим, и сама там ни разу не была. Все только по рассказам знаю...

Она улыбнулась, глядя на Иосифа, как будто предвкушая это небольшое приключение. А он, впервые за долгое время, почувствовал нечто похожее на детский восторг.

Ночь опустилась на Москву прозрачной дымкой, в которой дрожали огни улиц. Сентябрь напоминал о себе легкой прохладой — не стужей, но и не теплом. Матрена Федоровна, кутаясь в старую шерстяную кофту с вытянутыми рука-

вами, поежилась и плотнее запахнулась. На плече у нее висела сумка с термосом и парой бутербродов, а под мышкой — клетчатый плед, которым она тут же заботливо укрыла плечи своего Осипа.

— Не простудись, — пробормотала она, усаживаясь на складной табурет и с видимым удовольствием откусывая кусочек курта. — Вот вещь! Хоть сейчас на фронт бери...

Круглые, сухие, чуть солоноватые шарики творога она грызла с азартом. Каждый — с хрустом, с короткой паузой на чай. Запах крепкой заварки из термоса заполнял воздух, перебивая даже бензин и старый асфальт, которыми пахла ночная Москва.

Иосиф хотел было спросить, почему Матрена Федоровна упомянула «фронт»: неужели ей пришлось воевать? Но он постеснялся задать этот вопрос при людях.

Очередь выстроилась вдоль Кремлевской стены — длинная, извивающаяся цепочка людей. Кто сидел, кто стоял, кто тихо разговаривал вполголоса. Тут и там были слышны шуточки, кто-то ворчал на холод, кто-то предлагал чай соседям. Время тянулось, как теплый пластилин, но утро неумолимо приближалось.

Парень — все же немного сонный — периодически поглядывал на высокие стены и башни Кремля. В лучах восходящего солнца они светились рубиновым светом. Иосиф невольно подумал: кто и как долго возводил эту крепость? Он всматривался в кладку жженого кирпича, понимая его

прочность — в отличие от их саманных мазанок в казахстанском селе, которые приходилось каждый год обмазывать глиной и затирать трещины.

Время пролетело почти незаметно. Очередь неожиданно оживилась и пришла в движение. Контроль, затем — шаги по звенящей утренней брусчатке Красной площади.

Иосиф и Матрена Федоровна действительно оказались одними из первых в мавзолее. Внутри воздух оказался резким, холодным, почти металлическим. Низкие потолки, стены — черные, как ночь, лишь еле светящиеся линии у пола и потолка указывали путь. Все было предельно просто и бесстрастно. И только за стеклом — лежал Он.

Желтое, восковое лицо, тонкие, чужие руки. Иосиф замер, смотрел, не дыша. Сердце билось как-то неровно. Парень ожидал чего-то... большего? Чего-то всепоглощающего. А вышло — будто мимо прошел. Будто это не он здесь, а какой-то другой человек. Часть его хотела повернуться и уйти. Но ноги сами двигались дальше, по полутемному коридору.

Через полминуты посетитель оказался снаружи. Первый вдох свежего утреннего воздуха — словно возвращение из-под воды. Рассвет окрасил небо в дымчато-розовые цвета. Над рекой поднимался пушистый туман, а в городе просыпалась суета.

— Ну что? — спросила Матрена, вглядываясь в его лицо.

— Не знаю... — тихо ответил Иосиф. — Я посмотрел...

Она кивнула, будто поняла больше, чем он сам. И, натянув кофту плотнее на плечи, добавила:

— Все правильно, Осип. Главное — что ты там побывал. А мысли... они потом придут. С годами.

Тула встретила поцелуями

И все, что было до, вдруг стало прошлым.

В городе назначения он объявился лишь в субботу. Тульский железнодорожный вокзал встречал не суетой, а какой-то степенной, уравновешенной уверенностью. Над главным зданием возвышалась надпись из красных букв: «ТУЛА — ГОРОД-ГЕРОЙ».

Высокие сосны под боком перрона, почти до самой крыши вокзала, — как почетный караул вечно на посту. Ветер лениво гонял облака по небу. Солнце играло на проводах и вагонах.

Иосиф ступил на перрон города, не знавшего его по имени и, в сущности, не ждавшего. Но, возможно, именно здесь начиналась та дорога, которой ему было суждено идти. Город встречал его мокрыми после дождя улицами, тонким, едва уловимым запахом листвы и железа, и прохладным ветром, скольльзящим меж домов — как будто сам воздух напоминал: начинается осень.

Ему пришлось пройти в город сквозь зал ожидания. Над дверью тикали часы, вдоль стен стояли старые деревянные скамейки. Пастельно-зеленые стены, высокий потолок с лепниной, колонны — слегка облупленные, но не утратившие

своего ореола — создавали атмосферу размеренной, провинциальной торжественности.

На выходе он замер — в нерешительности, в раздумье. Со стороны, на фоне величественного фасада, он наверняка казался случайной пылинкой у подножья монументального здания: белоснежный фронтон, массивные колонны, крыша, как у античного храма, и яркие, торжественные буквы — «МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ». Все здесь дышало величием, уверенностью и важностью. Он чувствовал себя крошечным. Почти как та самая блоха, которую, по преданию, подковал тульский умелец Левша. В совхозной библиотеке родного Аккемира Иосиф не раз читал об этом и теперь вдруг вспомнил — и сравнил себя с этой козявкой. Мельчайшее существо на фоне необъятной державы.

За широкой Вокзальной площадью раскинулась гостиница «Москва». Еще в июле, с первого взгляда она поразила приезжего из казахстанской глубинки своими размерами и городским величием. Семиэтажное кирпичное здание строгой прямоугольной формы выделялось на фоне окрестных построек массивностью и сдержанным фасадом. Чередование темных и светлых полос придавало ему особую ритмику, а ровные ряды окон подчеркивали его строгость и масштаб.

Для Иосифа, выросшего среди мазанок и одноэтажных сельских домов, гостиница «Москва» в Туле выглядела почти как небоскреб — монументальная, деловая, чужая, но оттого еще более привлекательная. Огромное кирпичное

здание строгой геометрии на пересечении улицы Путейской и Красноармейского проспекта нависало над площадью, словно хранило в себе какой-то особый городской ритм. И теперь он наконец мог запечатлеть его — на свой собственный фотоаппарат.

Еще утром, в столице, выйдя из мавзолея, он с наивной прямоотой заметил:

— Была б у меня фотокамера — щелкнул бы щас Ленина в гробу... В Аккемире потом все обзавидовались бы!

Матрена Федоровна приснула со смеху и только махнула рукой:

— Осип, да ты что! Фотоаппарат бы тебе не помог. Там даже дышать положено строго по уставу, не то что снимать! Ты что, вывеску при входе не видел?

Он растерянно покачал головой.

— Запрещено это! Категорически.

Он промолчал. В ту минуту до него дошло, насколько мимолетным оказалось это прикосновение к «вечному».

— Ну что, чем займемся? — спросила москвичка, ссутулив плечи. У нее был выходной, и она выглядела чуть потерянной — как человек, которому вдруг разрешили пожить для себя, но он не знает, что с этим делать.

— Твоя электричка через три часа, — добавила она.

Иосиф развел руками, пожал плечами — идей у него тоже не было.

— А я знаю! — озорно блеснула глазами фельдшер. — Пошли. Успеем.

И он пошел за ней — не спрашивая куда.

После выхода из мавзолея они, не спеша, прошлись вдоль Красной площади. Осеннее солнце, наконец, поднялось над московскими крышами, подсушило булыжную мостовую, и воздух стал чище, легче — будто и сам город немного выдохнул.

— Тут недалеко ГУМ, — Матрена Федоровна подхватила парня под локоть. — Когда еще у тебя будет возможность туда заглянуть?

Иосиф вновь пожал плечами: он ни разу не был в настоящем магазине, где продают «все и сразу». Для него ГУМ был чем-то вроде сказки — знакомым по телевидению, но абсолютно нереальным. А теперь он сам шел мимо фасадов с арками, из которых веяло богатством и столичной сдержанной роскошью. Высокие витрины, кованые фонари, внутри — полумрак и светящиеся вывески. Люди мерили костюмы, примеряли туфли, выбирали духи. И он — среди них.

— Подожди, — сказала вдруг Матрена Федоровна, и, оставив его у прилавка с сувенирами, быстро нырнула в соседний отдел. Вернулась с небольшой коробочкой, обернутой тонкой, чуть блестящей бумагой.

— Это тебе, — протянула она, глядя ему в глаза.

— Нет... Вы что... — растерялся Иосиф, — не надо... Я не могу принять...

— Можешь, — твердо сказала она. — Это не прихоть. Это приказ. Будешь мне каждую неделю письма писать. И фотографии туда вкладывать. Чтобы я знала, как ты живешь, как меняешься. Обещай!

Он молча кивнул, чувствуя, как в горле встает ком. В руках у него лежала пластмассовая коробочка с надписью «Смена-8М» — та самая, о которой читал раньше в совхозной библиотеке. Простая, но настоящая. Его первая фотокамера. Его собственная.

Из открытых окон ГУМа доносился запах ванили и свежее испеченных вафель. Кто-то смеялся, кто-то щелкал семечки. А он стоял посреди этого столичного гомона с фотоаппаратом в руках и чувствовал, как невидимая нить тянется от этой женщины — незнакомой, но ставшей такой родной — прямо к его будущему...

Ехать с Тульского вокзала сразу в военное училище показалось ему нелогичным.

«У генерала наверняка выходные, а других я там и не знаю. Пока все объяснишь — только время потеряешь», — рассуждал он.

На самом деле, Иосиф просто боялся признаться себе, что не спешит — не горит желанием добровольно запереть себя в стены военного заведения.

Сама погода будто нашептывала: не спеши, погуляй еще, побудь вольным, надышись воздухом юной беспечности.

И у него быстро созрел план.

— Здравствуйте, — окликнул он проходившего мимо мужчину в засаленной спецовке, от которой пахло мазутом и металлом. Судя по виду, тот был железнодорожным ремонтником. — Не подскажите, как добраться до самоварного завода?

Рабочий прищурился, махнул рукой в сторону улицы:

— Садись на трамвай-тройку, в сторону Щегловской за-секи. Выйдешь на остановке Глинки. А там уж рукой подать.

Предписание прибыть в военное училище к 1 сентября было уже давно просрочено, но Иосиф решил попытать свое счастье.

Он подошел к трамвайному киоску и, поеживаясь от осенней прохлады, спросил у кассирши:

— Мне талон покупать или я, как курсант, могу бесплатно?

Он помнил, как в казахстанском Кандагаче ему без проблем обменяли просроченный билет до Москвы, выданный еще в июле в стройотделе тульского училища. Может, и здесь прокатит?

Женщина в киоске выглянула из крошечного окошка — на ее тусклом лице мелькнула теплая улыбка.

— Езжай так, конечно. У меня самой сынок служит, — сказала она почти шепотом, с материнским участием.

Через мгновение, она даже не поленилась — выскочила из своей будки, поправляя халат, и, подпоясавшись, добежала до подъехавшего трамвая №3. Придержала дверь,пустила

Иосифа внутрь и громко крикнула куда-то в салон:

— Ирка! Малой — артиллерист. До самоварного, бесплатно!

— Ясно! — отозвался хриплый голос из глубины вагона.

Трамвай дернулся. Иосиф, ухватившись за поручень, прошел вглубь вагона, занял место у окна. Металлический корпус закрипел на повороте, и вот они покатали вперед — неспешно. Время давно перевалило за полдень, было уже около четырех, и казалось, будто сам город, устав от будничной суеты, выдохнул и позволил себе замедлиться. Сентябрьское солнце клонилось к горизонту — мягкое, рассеянное, почти ленивое.

Окно было немного запотевшим, и он провел пальцем по стеклу, оставив прозрачную дорожку. Перед его взглядом медленно проплывали улицы: покосившиеся деревянные заборы, бревенчатые одноэтажные домики с резными наличниками, редкие прохожие, неспешно шагающие по обочинам. Осень только-только вступала в свои права — в кронах деревьев мелькали первые желтые листья, и воздух был наполнен влажным спокойствием, словно город отдыхал от жары, но еще не напрягался к зиме.

Сидевшая рядом с ним пожилая женщина в клетчатом пальто украдкой посмотрела на него, заметив наплечную сумку и фотоаппарат, свисающий на ремешке.

— Не местный? — спросила она без любопытства, просто из вежливости.

— Нет... Я в училище, в артиллерийское, — ответил он, чуть смутившись.

— А... ну, значит, скоро в форме будешь щеголять, — кивнула женщина одобрительно. — Хорошее у нас училище. У меня племянник в том году с медалью окончил. Теперь служит в Венгрии, в группе разминирования.

Иосиф кивнул, но не ответил. Его мысли были не о погонах. Он смотрел вперед, сквозь дрожащую рамку стекла, за пределы остановок, вывесок, антенн, ища в этом новом городе хоть какую-то зацепку — знак, намек, что он здесь не зря.

На повороте, за запотевшим стеклом трамвая, промелькнула "Катюша" — легендарная боевая машина на постаменте. Словно застыла в атаке, с поднятыми к небу направляющими, она стояла одна среди редких деревьев и разбросанных клочков земли, напоминая о грозных днях, когда Тула держала оборону.



И про эти времена, о которых кричала своим безмолвием «Катюша», Иосиф много читал в поселковой библиотеке Аккемира. Читал взахлеб — о подвиге туляков, о том, как заводы работали без передышки, как женщины вставляли к станкам, а школьники собирали металлолом. Все это казалось тогда далекой и чужой легендой. А теперь вот — наяву, за окном трамвая, среди улиц, где все еще живо эхо тех суровых лет.

— Только ты, поди, заблудился, — продолжила соседка по сиденью, приглядываясь к нему. — Училище-то на проспекте Ленина. Это тебе совсем в другую сторону.

— Я знаю, — кивнул Иосиф. — Просто... у меня тут одна

знакомая бабушка. Хочу ее провести.

— А зачем тогда на самоварный едешь?

— Тетя Мотя сказала, что работает вахтером в мужском общежитии самоварного завода.

— А, ну тогда тебе действительно до остановки "Глинки". Только там смотри: не спускайся вниз, к Патронному заводу. Иди в противоположную сторону, к стадиону. За ним, на улице Шухова, как раз и находится то общежитие.

В этот момент трамвай неторопливо проехал мимо трехэтажного здания строгой формы — светлый камень, узкие окна, сдержанный фасад. Над входом возвышался бетонный козырек, к нему вели массивные ступени с аккуратными металлическими перилами. По бокам — клумбы с цветами, ухоженные, хоть и простые. Все здесь дышало деловитой аккуратностью: типичная советская архитектура с легкой ноткой официальной важности. Вдоль асфальтированной дорожки — два щита со снимками: «Гордость Пролетарского района» — десятки лиц, выстроенные в ровные ряды.

Рядом, сразу за серым, безликим зданием райисполкома и покосившимися деревянными избушками, вдруг потянулись дома совсем другой породы. Они бросались в глаза — вытянутые, ровные, будто вытесанные по лекалу, с идеальной кладкой красного кирпича, с карнизами над окнами, балкончиками с фигурными перилами и аккуратными светлыми вставками в верхних этажах. В этой сдержанной, немногословной архитектуре было что-то чужеродное, непривычное.

Иосиф смотрел на них с удивлением. Такое он видел впервые — не на картинках, не в книгах, а вживую.

— Немцы строили, — тихо пояснила попутчица. — Военнопленные. Вот уж кто умел на совесть делать. Каждый мечтает квартиру в таком заполучить.

Парень невольно потянулся за фотоаппаратом и сделал подряд несколько щелчков — будто хотел сохранить этот странный, неровный контраст.



Внутри же что-то откликнулось — тепло и больно. Тянуло вовсе не потому, что это было как и он — «немецкое». Нет.

Дело было в другом.

В каждом кирпиче, в каждой линии, в каждом тщательно оштукатуренном откосе чувствовалось: делали не абы как, не для отчета, а с уважением к делу. С ощущением меры. С понятием «на века».

Он и сам таким хотел быть. Всегда, сколько себя помнил, в том же совхозе или на элеваторе, старался делать все «как для себя». На совесть. Хоть забор, хоть кормушку, хоть крышу на курятнике. И потому чужое здесь казалось не чужим — наоборот, своим. Тем самым, о чем мечтается, к чему тянется.

Женщина мягко толкнула его локтем:

— Твоя следующая. Глинки.

Иосиф поблагодарил, поднялся и осторожно сошел по ступенькам. В этот момент его попутчица будто спохватилась:

— Погоди-ка, я тоже тут выйду. Там можно через стадион срезать, а ты сам точно не найдешь.

Трамвай звякнул дверьми и, набирая ход, укатил дальше, оставив Иосифа на краю незнакомого маршрута. Но он не чувствовал страха — рядом шла добрая, разговорчивая женщина, в присутствии которой становилось как-то уютно, домашнему.

— Как вас зовут? — поинтересовался он.

— Галина Николаевна, — охотно ответила спутница.

— Как мою маму, — удивился и почти обрадовался

Иосиф. — Правда, у нее отчество другое было. Агеевна.

— Неужто уже померла?.. — с мягким ужасом прошептала Николаевна и даже остановилась. — Или?..

— От рака, — ответил он, сдержанно, но без натуги. — Пять лет прожила после отца.

— Да Господи ж, прости и упокой... — прошептала женщина и несколько раз подряд перекрестилась. Она покачала головой, прижала к груди авоську с покупками. — Так ты, выходит, сиротинушка, круглый... Ничего, ничего! Хорошо, что ты в военные пошел. Там на казенном довольствии — и кров над головой, и харч, и порядок. А жизнь все еще может тебе улыбнуться, милоч. Вот увидишь...

Они пересекли трамвайные рельсы и попали на узкую улицу, которая терялась в зелени. На углу первого кирпичного дома, где за листвой прятались окна, висела синяя табличка с названием — «Глинки 1». Белые буквы слегка поблекли от времени, но все еще были различимы. Указатель казался обычным, неприметным — как и сама улица, скрытая от глаз торопливого города.

Иосиф успел сделать несколько кадров внутренних дворов домов из красного кирпича, возведенных когда-то немецкими военнопленными, прежде чем они свернули на улицу, тянущуюся вдоль зеленой стены деревьев. Мощные кроны нависали над тротуарами, словно оберегая прохожих от полуденного солнца. Каштаны и липы — старые, разлапистые, местами накренившиеся, с шероховатой корой и туск-

ло-блестящими листьями — тянулись вверх, образуя живой свод. Все здесь дышало размеренной тишиной и спокойствием.

Асфальт под ногами оказался местами потрескавшийся. Шли они не спеша, будто подстраиваясь под ритм этого тихого уголка Тулы.

По левую сторону, сразу за перекрестком, протянулся длинный забор. Между массивными каменными столбами, обветренными и местами потрескавшимися от времени, тянулись черные металлические секции с редким, почти декоративным узором. Местами в них застревала трава и сорные стебли, будто сама природа пыталась заглянуть за эту границу. За оградой, в глубине, среди листвы угадывались силуэты построек — полускрытые ветвями, таинственные, будто забытые.

— Здесь у нас городская больница. Девятая, — пояснила на ходу Галина Николаевна, не сбавляя шаг. Она кивнула в сторону массивных ворот. За густой зеленью деревьев, за спинами прохожих и шорохом листвы, внезапно открылся вид на въезд в городскую больницу. Небольшая, но солидная проходная с облупившимися белыми колоннами, массивные ворота с табличкой «Проезд запрещен» и выкрашенная в темно-красный цвет охранная будка. Позади ворот, в конце чистой, аккуратной дорожки виднелось основное здание больницы — прямоугольное, белое, строго симметричное, с колоннами и темными окнами.

И хотя здание больницы вполне заслуживало того, чтобы попасть в кадр, Иосиф решил не тратить на него пленку. Знать бы ему тогда, что совсем скоро именно здесь ему придется бороться за жизнь...



Через десяток шагов Иосиф с Галиной Николаевной уперлись в старинную арку, словно перенесенную сюда из другого времени. Беленая штукатурка, кое-где облупившаяся, придавала строению потертый, но достойный вид. Небольшие арочные проемы, колонны по бокам, тяжелая лепнина под крышей — все напоминало о довоенной архитектуре — строгой, основательной, немного тяжеловесной, но по-сво-

ему торжественной. Такой, какую Иосиф знал по черно-белым фильмам и старинным открыткам: с барельефами атлетов, в позах, полных пафоса и силы, с венками, гирляндами и надписями в духе "в здоровом теле — здоровый дух". Арка словно сошла с одной из таких открыток — настоящий вход в эпоху, где спорт был делом государственной важности, а каждое здание — монументом.

— Это стадион имени Кирова, — пояснила пожилая женщина. — Принадлежит Патронному заводу. Тут по выходным гулянья были — считай, весь город сходился.

Она даже немного выпрямилась, словно вспоминая что-то особенное.

— А ты знаешь, — добавила с заметной теплотой и гордостью, — тут, на «Кировце», в пятьдесят девятом свой первый международный матч наши сыграли. «Труд» против датчан. Победили, между прочим — пять три.

Покрытые ржавчиной ворота входа в стадион скрипели от каждого порыва ветра и оказались заперты на цепь с огромным висячим замком. Но Галина Николаевна знала лазейку. Взяв Иосифа за руку, она повела его в обход арки — туда, где за густыми кустами в заборе пряталась приоткрытая щель. Они протиснулись внутрь.



То, что предстало взору, трудно было назвать стадионом. Пустырь — вот слово точнее. По одну сторону — многочисленные, полусгнившие, обвалившиеся деревянные скамейки. На старой беговой дорожке, заросшей травой, прогуливался с собачкой на поводу какой-то пожилой мужчина.

Они хотели перейти поле стадиона наперекосья, но недавний дождь превратил землю в кашу. Пришлось идти в обход — по беговой дорожке, где под ногами ощущались остатки утрамбованного шлака и просевшего песка.

Трехэтажные дома на улице Шухова, что тянулись сразу за стадионом, выглядели крепко и добротно. Красный кирпич фасадов потемнел от времени, нижние этажи — с отбелен-

ной штукатуркой, местами облупившейся, с глубокими подоконниками и частыми окнами, за решетками. Они словно выросли в зелень — утопали в густых кронах многолетних деревьев. Липы, березы, клены — все это зеленое царство обволакивало дома, отбрасывая ажурную тень на стены и окна. Солнечные блики, пробиваясь сквозь листву, двигались по фасадам, придавая им живое, дышащее выражение. Воздух был напоен листвой и сыростью земли.

Искать тетю Мотю им дальше не пришлось. Прямо у первого бокового дома, на скамейке у подъезда, сидели три пожилые женщины, словно сговорившись — все в белых платочках, но каждая со своей неповторимой статью. Одна — в поношенной куртке, с небольшой сумкой через плечо, другая — с палочкой и розовым зонтом, аккуратно пристроенным на коленях, третья — с прямой спиной и особенно живым, внимательным взглядом. Именно она выделялась среди остальных: и ростом, и уверенностью в движениях. Это была тетя Мотя — та самая, о которой говорил Иосиф. Ее голос, кажется, мог перекрыть двор, а взгляд сразу ловил в себе внимание прохожего.

— Так я же ее знаю, — не то чтобы разочарованно, но с легкой досадой пробормотала Галина Николаевна, словно самой себе. — Твою Мотю... По базарчику. То она ко мне на счет цены придирается, то я ее за фарцовку журю. Считай, каждый божий раз. И уже годы. А вот имя ее — впервые слышу...

Не успела она договорить, как тетя Мотя, сидевшая до того вальяжно, будто командуя скамейкой, вдруг буквально подпрыгнула, словно электрический ток прошел по деревянной спинке. Ее глаза округлились, на лице промелькнуло узнавание — и радость, без тени сомнений. Она вскочила, широко раскрыв объятия:

— Ой, гляньте бабоньки, кто к нам пожаловал!.. Осип! Мой казахстанский орел!

Галина Николаевна остановилась в шаге от скамейки, прищурилась и, уперев руки в бока, пробормотала, будто обращаясь к небу:

— Ну и дела... Сколько лет на базаре воюем, а тут выясняется — родня почти...

— А чего ж ты молчала, старая заноза? — отозвалась тетя Мотя, уже оправившись от внезапного волнения. — Я ж тебя каждый раз с яиц на творог переключала, думала, у нас и так взаимопонимание имеется!

— Ага, понимание! Ты ж мне за укроп дважды сдачи не дала! — не осталась в долгу Галина Николаевна, но в ее голосе уже не было язвительности, только игра, старая и привычная, как перетертая колода карт.

Между ними, чуть растерянно, стоял Иосиф — плечистый, с авоськой, фотоаппаратом на ремешке и все тем же взглядом слегка удивленного, но терпеливого наблюдателя. Он не знал, смеяться ему или вмешаться, но вдруг понял, что сейчас происходит нечто важное.

— Вот ведь... — сказала Мотя, кивнув в его сторону. — Родился черт знает где — за пять тысяч верст, а возьми и нас, двух старых кляч, свел! Не иначе как по судьбе.

Галина Николаевна хмыкнула:

— Герой. Мост на двух ногах. Соединил явное с невозможным.

— Что, поэтом заделалась? — прищурилась тетя Мотя, но без злобы. — Дай лучше руку, будем знакомы по-настоящему.

— Галя.

— Мотя. Только ты мне с этой "Матреной" не лезь — от этого имени у меня ощущение, будто я бабка из церковной лавки. Договорились?

— А для него кто? — Галина кивнула на Иосифа.

— А для него я, можно сказать, бабушка. Не по крови, конечно, но по жизни — считай, родная.

— А я тогда буду ему крестной. Мы ж с ним на перекрестке Глинки познакомились!

Иосиф не удержался от улыбки.

— Ну что ж мы тут стоим? — спохватилась тетя Мотя, хлопнув себя в подол. — Гость в доме! Айда, стол накрывать. Я, как чувствовала, водочку прикупила.

— Да брось ты, партизанка, — рассмеялась та, что с розовым зонтом. — Мы ж все свои, знаем: сама гонишь, и гонишь не хуже заводской.

— У меня к ней, кстати, отличные грузди, — тут же под-

ключилась соседка в в поношенной куртке, — соленые, хрустящие. Щас принесу.

— А я пирожки! — подала голос первая. — С утра напекла, как на праздник.

Иосиф слушал их с улыбкой, ощущая себя в каком-то особом бабушкином кулинарном заговоре, где уже давно все знают друг о друге, но делают вид, будто открываются впервые.

Тетя Мотя занимала одну из трех комнат на втором этаже типового трехэтажного дома. Комната у нее была светлая, хоть и тесноватая, с огромным подоконником, заставленным цветами. В соседях — мать-одиночка с угловатым подростком лет четырнадцати, вечно греющим магнитофоном и спорящим с миром. А третья комната принадлежала женщине, что в поношенной куртке. У нее оказалось непривычное для Иосифа имя — Груша.

— За что ж вас так называли? — не удержался он, спросив как бы между прочим.

— Это по-простецки, — отмахнулась она, — по метрике так я Агриппина.

— Знаешь загадку? — вмешалась тетя Мотя, раздвигая разболтанный стол, за которым явно не одно поколение жильцов делило жизнь и хлеб. — Висит груша — нельзя скушать.

— Лампочка, — улыбнулся он. — В первом классе слышал.

— А вот и нет, — приснула тетя Мотя. — Это Агриппина, дура, повесилась...

Смеялись все, кроме самой Груши. Та только покачала головой и пробурчала:

— Мотя, ну опять ты за свое. Договоришься у меня... Отравлю грибами.

Коммуналка снова залилась смехом.

— Слышь, Осип, — обернулась тетя Мотя к Иосифу, — ты не бойся, у нас тут и шутки, и грибы — все с душой.

Чуть позже они уже сидели за столом. В комнате стоял густой запах жареного лука, солений и свежеиспеченных пирожков, которые одна из соседок притащила в глубокой миске, прикрытой кухонным полотенцем. На подоконнике, рядом с астрами, стояла открытая банка с маринованными грибами — аромат уксуса едва уловимо щекотал нос. Из приоткрытого окна доносились звуки двора: щелканье мяча о стену, чей-то прерывистый смех, далекий крик «Маша, домой!», и теплый, чуть уставший ветер шевелил тюль, заставляя ее мягко колыхаться.

Бутыль с самогоном стояла посреди стола, словно почетный гость — пузатая, с толстым горлышком, из стекла, отливавшего зеленовато-серыми тенями. Внутри плескалась мутноватая жидкость — как будто дышала собственным, тяжелым духом. От нее тянуло хлебным теплом и крепостью, от которой перехватывало горло. Это угощение тетя Мотя наливала щедро — с уставшей, но точной уверенностью знато-

ка. Как будто знала: без этого — не разговор.

Иосиф, обмахиваясь газетой от духоты в комнате, невзначай спросил хозяйку:

— А у вас что, огород есть?

— С чего бы? — удивилась та. — Разве что подоконник вон уставлен цветами.

— Так вы же с Галиной Николаевной из-за укропа ругаетесь?

— Ай да, малой! — рассмеялась она, покачав головой. — Внимательный! Неа, это чистой воды конспирация! Нарву на газоне травы, пару веток с деревьев — и готов тебе "набор для засола". Стою, машу этой зеленью, как приманкой, народ зазываю. А уж потом — хоп, из-под прилавка колбаска, конфеты. Все из Москвы. Тащу, как муравей, по чуть-чуть.

Она заговорщицки понизила голос:

— А Галочка у нас, выходит, фарцовщица по части одежды: джинсы, костюмы, сапоги — вся заграница, чешские фирмы!

Мотя кивнула, словно подводя итог:

— Может, и тебе чего подберем, чтоб не ходил, как сирота казанская. Крутимся, как можем. — Тут она вздохнула и тяжело опустила глаза. — На одну заводскую пенсию не проживешь. Приходится вот таким Макаром дыры латать.

В какой-то момент раздался звонок в дверь. Тетя Мотя пошла открывать. Вернулась в комнату, весело крутя над го-

ловой фартук:

— На танцы пригласили!

— Да кому ты, старая, сдалась?! — прогорланила Груша на весь дом. — Поди, Ефим с кладбища по твою душу пришел!

— Говорю же, на танцы. Но не меня, а Осипа! — небрежно бросила она передник в сторону соседки. — Наши дворовые стрекозы долго в невестах не засиживаются. Острый нюх у них. Враз новенького учуяли.

— Пойдешь? — повернулась она к Иосифу. Парень покраснел — то ли от смущения, то ли от самогона.

— Конечно же пойдет! — отрезала за него Галина Николаевна. — Годы молодые, пусть гуляет. Ему скоро в сапогах маршировать — не до веселья будет.

— А кстати, про обувь, — всплеснула руками тетя Мотя. — Галка, у тебя, поди, найдутся для Осипа какие-нибудь приличные кроссовки. Негоже парню перед городскими невестами в сандалиях щеголять.

— Да у тебя, небось, и самой что в закромах завалилось, — съехидничала Груша.

— Боюсь, не по размеру будут. Ну-ка, какой носишь? — повернулась к Иосифу.

— Сороковой, — немного неуверенно ответил он.

— Посмотрим, подберем что-нибудь. А ты, подруженька, — кивнула она Гале, — сбегай за джинсами. Не пообедем. Пусть уж невесты глядят, кто к нам во двор приехал!

Тетя Мотя подошла и постучала в дверь соседней комнаты — той самой, где жила мать-одиночка с сыном. Эти жильцы за весь день ни разу не показались на глаза, в гулянье не участвовали.

— Дикари, — сдержанно, почти шепотом, пояснила Иосифу Груша. — Что мать, что ее оболтус, Сашка. Боятся даже на общей кухне варить. Купили керогаз в комнату и шифруются. Оно нам надо — что там завидовать их баланде?

— Нинка! — громко окликнула тетя Мотя, стуча кулаком в дверь, стараясь перекрычать музыку, льющуюся из магнитофона. — Пусть мой Оська сейчас помоемся. Знаю, что сегодня твоя очередь. Давай поменяемся, ладно?

Не дожидаясь ответа, тетя Мотя бодро проследовала в ванную, и вскоре оттуда послышался шум набирающейся воды.

В эту же минуту Груша шмыгнула в свою комнатнушку, и почти сразу вернулась с полотенцем в руках.

— Я шмотками не барыжу, — пробурчала она Иосифу полупшепотом. — Но махровку могу подарить.

— Вот и ладненько, — кивнула тетя Мотя, выглядывая из ванной с довольным видом. — С миру по нитке — голому рубаха.

— А куда это они собрались? В комбайновый, иль в наш, штамповский? — вслух поинтересовалась Груша, не сводя взгляда с Иосифа, словно прикидывая, как он будет смотреться под вечерним светом клубных лампочек.

— Конечно же в наш, заводской, — отозвалась тетя Мотя, будто вопрос был праздным и даже обидным. — Чего это по чужим клубам шастать? У нас и музыка, и девки — все свое.

— Так ДК Комбайнового ближе, — не унималась соседка. — И зал там побольше, и освещение новое поставили...

— Да угомонись ты, прошу тебя, — отмахнулась Мотя. — Ноги молодые, не сотрутся. А дух у нас лучше — свой.

— И девчата, между прочим, тоже у нас огонь, — добавила вернувшаяся Галина Николаевна, и с этими словами подмигнула Иосифу. Протянула ему завернутый в газету кулек. — Примерь!

Парень засмутился еще больше, но уголки его губ уже начинали выдавать внутреннюю улыбку: все шло куда веселее, чем он ожидал этим утром...

Когда он вышел из дома, на той же скамейке у подъезда, где пару часов назад его встречали три пожилые женщины в белых платочках, теперь сидели три девочки-подростка — словно будущее сменило прошлое на посту.

Одна — темноглазая, с заплетенными в две тугие косички волосами, в алом ситцевом платице с белым воротничком, неотрывно вертела в руках зеркальце и подкрашивала губы.

Вторая — повыше ростом, в платье с мелким цветочным рисунком, по-взрослому накрашена тушью, при этом то и дело поглядывала на Иосифа с вызывающей улыбкой.

Третья — с самыми длинными ногами, сидела боком, постукивая каблуком по асфальту, и грызла семечки, лениво

сплевывая шелуху прямо под скамейку, где уже собиралась целая россыпь тонких серых лепестков.

— Танька, Маринка, Сонька. Чтоб вернули мне его в целости и сохранности! — донесся со второго этажа голос тети Моти. Она каким-то чудом умудрилась просунуть голову в форточку и теперь глядела вниз с таким видом, словно лично провожала сына в дальний поход.

Одна из девчонок, та, что с вызывающей улыбкой, задрала голову, весело отозвалась:

— А если вернем с прицепом?

— С каким еще прицепом?! — не поняла Мотя.

— С кольцом на пальце! — засмеялась она, лукаво стрельнув глазами в сторону Иосифа.

Парень густо покраснел. Местные девчата оказались бойкими, без стеснения. Но в их поведении не чувствовалось ни грубости, ни насмешки — просто открытая натура, какая бывает у детей рабочих окраин. Простые, как хлеб, и прямые, как рельсы...

Дом культуры самоварного завода, гордо носивший имя «Серп и Молот», возвышался на углу квартала. Спроектированный в стиле конструктивизма, он выглядел строго и внушительно — будто бы собрались архитекторы того времени изобразить силу индустриальной страны не только в металле и станках, но и в камне, стекле и железобетоне.

Серое двухэтажное здание с плавно закругленным фасадом, на острие пересечения улиц Чапаева и Плеханова, на-

поминало корабль. Четырёхэтажные пристройки по бокам придавали силуэту величественность. Главный вход располагался прямо на углу, словно приглашая сразу со всех сторон. Небольшая колонная ниша вела в просторный вестибюль, залитый мягким дневным светом, который проникал сюда сквозь высокие окна даже в пасмурную погоду.



— Купишь нам билеты? — спросила Марина, та самая, что с вызывающей улыбкой и глазами, подведенными тушью по-взрослому.

— Конечно, — Иосиф поспешно полез в карман за деньгами. Но в тот же момент девочка протянула ему рубль.

— Так я же сказал, что заплачу за вас, — удивился он.

— У нас деньги есть, — быстро ответила Валя. — Только по возрасту нас не пропустят. Танцы с восемнадцати. Тебе поверят — ты старше выглядишь.

На часах было чуть за десять сентябрьского вечера. Лето отступало неохотно, словно не хотело покидать город. Воздух еще держался теплым, но в нем уже чувствовалась прохладная примесь. Асфальт под ногами отдавал тепло за день, и платица девочек колыхались от легкого ветра, а под уличным фонарем цветочные узоры на ситце казались живыми, как в калейдоскопе.

Билеты Иосиф купил без проблем: строгая тетенька в каске лишь мельком взглянула на него — плечистый, загорелый, с серьезным лицом — и шлепнула четыре тоненьких билета на стол. Никто не стал вглядываться в девочек. На проходе в клуб коротко кивнул вахтер, пропуская вперед.

Внутри уже звучала музыка — по залу раскатывался «Розовый вечер» Александра Барыкина, а потом заиграл ВИА «Самоцветы» — девочки сразу оживились. Мигающие цветные лампочки сверкали под потолком, отбрасывая разноцветные пятна на лица танцующих. Пахло перегретым деревом пола, духами «Красная Москва» и чем-то сладким — может, дешевыми леденцами, спрятанными в карманах.

Девочки смело пошли вперед, а Иосиф немного ступался, стоя у стены, вглядываясь в незнакомые лица. Но Марина уже схватила его за руку:

— Пошли, че ты как мальчишка.

В этот момент Иосиф поймал себя на мысли, что эта тульская девочка — бойкая, с косичками, немного дерзкая, но притягательная — до странного напоминала ему его первую любовь. Марина, соседская внучка из Аккемира, была точно такой же — солнечной, как лето, и упрямой, как ветер в степи. Из-за нее его тогда прозвали “Маринатиком”. И тут, в Туле, даже имя совпало. Сердце отозвалось теплой волной — не болью, нет, а светлой благодарностью к тем далеким дням. Как будто часть прошлого снова улыбнулась ему.

И вот они уже в центре зала, под «Три белых коня», шаг влево, шаг вправо — все просто: круг, поворот, хлопок в ладоши, наклон головы. Для местных ребят это было привычным и почти автоматическим ритуалом. Тело само знало, когда притопнуть, когда повернуться, когда хлопнуть в ладоши в такт.

Иосиф же сконфузился. Он не владел этими движениями. У них в Аккемире все было по-другому: танцы — чуть медленнее, сдержаннее, без этой широкой пластики и легкого задора. Там музыка шла больше из магнитофона «Романтик», а танцевальные вечера устраивались в актовом зале школы или в дом культуры, где мальчишки стеснялись и прятались по углам, пока девочки не устанут звать. И, главное — движения были совсем другие. Скромнее. Неловкие кивки, шаги больше вперед-назад, чем вбок, и всегда опаска, как бы ничего лишнего.

А здесь все было нараспашку. Свобода в теле и духе. Танцы как язык — говори, и тебя поймут. Он учился — на ходу, подстраивался, повторяя за Мариной. Иногда опаздывал с движением, иногда попадал в такт — и в этот момент чувствовал в себе что-то новое, будто выпрямлялся изнутри.

Марина смеялась — не насмешливо, а по-доброму. Как будто говорила: «Ничего, все правильно делаешь, главное — не стой в углу». Эта ее легкость — без кокетства, без напряжения — словно развязывала узел где-то внутри. На секунду он оглянулся — как будто хотел убедиться, что все это на самом деле происходит с ним. И в этот момент почувствовал: он в Туле, не гость, не прохожий — он уже часть этой жизни, пусть пока и не знает, что будет дальше.

Таня и Соня давно растворились в толпе танцующих, мелькая то тут, то там, то с одними парнями, то с другими. Зал кипел, музыка не стихала ни на минуту: „Червона рута“, „Поворот“, „Увезу тебя я в тундру“.

Иосиф остался с Мариной. В какой-то момент зазвучала песня «Этот мир» в исполнении Аллы Пугачевой. Девочка по-взрослому обвила шею гостя из Казахстана обеими руками и положила голову ему на плечо. Семнадцатилетний юноша, немного неловко, но уверенно, обнял ее за талию и притянул ближе.

Танцевали в фойе. Вид широких двустворчатых дверей, ведущих в основной концертный зал, уже сам по себе вызывал желание подойти, дотронуться, войти. Иосиф не удер-

жался... и воспользовался моментом.

В полумраке пустого зала, под хрустальными люстрами, чуть покачивающимися от гулких шагов и басов музыки из фойе, он остановился, как вкопанный.



Шторы сцены — тяжелые, бархатные — словно еще дышали репликами актеров, шептали недавние ноты. А над порталом — строгими белыми буквами: «ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ» — как пророчество, как знак.

Созерцатель не мог тогда знать, но в груди уже теплилось предчувствие: однажды он выйдет на эту сцену. Будет читать свои стихи — первые, еще неловкие, но горячие, с глотком

из детства и жаждой быть услышанным.

А потом... пышных размеров женщина из окошка выдачи заводских пропусков вдруг плавно поплывет рядом с ним в грациозной, жгучей лезгинке. И он, Иосиф, — начинающий поэт и достаточно опытный танцор — будет танцевать с ней под искренние аплодисменты коллег...

Во время следующего медленного танца Марина сама приблизила лицо к Иосифу. Их губы встретились — сначала робко, будто случайно. Но это легкое прикосновение оказалось сильнее их обоих. В одно мгновение поцелуй стал горячим, дерзким, почти жадным — словно в нем прорвалось все, что копилось в взглядах и молчании. Самогон тети Моти, сладкий аромат духов Марины, перегретый воздух зала, перемешанный с запахом лака для волос — все это вплелось в атмосферу того вечера и кружило голову сильнее, чем танец.

Они вышли на улицу последними, когда уже начали гасить свет. Возвращались домой не спеша, в обнимку. Ночь была теплой, не по-сентябрьски мягкой. Над крышами домов висела огромная луна, как желтоватый фонарь, освещающий дорогу в неизвестное.

Парочка часто останавливалась — под деревьями, в темноте подворотен. Практически не говорили. Только целовались — долго, нежно, с легкой дрожью в губах.

Перед тем как разойтись, Иосиф с Мариной присели на скамейку у подъезда. Воздух был густой, напоенный ночны-

ми ароматами увядающего лета. Тихо шелестели листья, и где-то за домами потрескивало радио — кто-то, видно, засыпал под «Маяк».

— В понедельник опять в школу... — с досадой и легкой злостью выдохнула Марина, откидываясь на спинку скамейки. — Терпеть ее не могу. Когда она уже закончится, эта мука?

— В каком ты классе? — спросил Иосиф, словно прозревая.

— В восьмом, — бросила девочка, будто это тюремный срок.

Услышав это, он инстинктивно отодвинулся. «Да ей же и пятнадцати еще нет...» — кольнуло в голове. По щекам пошел жар.

— Так тебе еще три года учиться, — пробормотал он, лишь бы не молчать.

— Неа, — с вызовом усмехнулась она. — После восьмого брошу. Пойду на завод.

— А мне еще четыре года в училище. Грызть гранит науки, как говорится, — вздохнул он.

— Я бы не выдержала, — покачала головой Марина. — Это же неволя, все время под козырьком. Куда ни шаг — устав. Да и зарплата у офицеров не ахти... У нас на заводе сто рублей сверх. Мой отец, с переработками, под триста получает.

— Не ври, — удивился Иосиф. — У инженеров зарплата

сто сорок.

— Клянусь, — серьезно ответила она. — Хочешь, спроси у баб Моти. Она знает.

Парень на секунду замолчал, глядя в окна многоэтажек. В некоторых все еще горел свет.

— Я б на твоём месте на завод пошла. — добавила Марина с искренней прямоотой. — Там жизнь своя, настоящая. А у военных — все как будто напоказ...

В этот момент сверху раздался глуховатый, но вполне уверенный голос тети Моти:

— Все, хватит на сегодня! Пора спать. Осип, дверь я тебе оставила приоткрытой. Давай, поднимайся уже.

Он тихо вошел в квартиру, стараясь не шуметь. Свет из кухни мягко подсвечивал пол и углы комнаты. Оттуда, не оборачиваясь, донесся голос тети Моти — уже тише, почти шепотом:

— Вернулся? Ну и ладненько. Я тебе в своей постелила. Сама перекантуюсь у Груши. Спокойной ночи, служивый.

— Спасибо... — он тоже шепнул и улыбнулся в ответ.

В комнате, где пахло свежей постелью, Иосиф снял рубашку, сел на край расправленной ко сну кровати. На губах у него еще жила жара девичьих поцелуев.

Он лег. Потолок едва угадывался в слабом свете с улицы. Где-то далеко тек неспешный, мирный звук трамвайной линии.

А в груди — странное чувство. То ли влюбленность, то ли

легкая тревога, а может быть, предчувствие. Как будто что-то важное уже началось. Что-то, что невозможно остановить.

И только шепот за окном, шелест веток под ночным ветром да невидимые шаги времени сопровождали его в сон.

Куда ни глянь — самовар

Разбудили Иосифа звуки радиоточки в углу комнаты. Сначала — короткие, уверенные «пип-пип-пип», будто отсчет нового дня. За ними последовала узнаваемая с детства бодрая мелодия — из кинофильма «Джентльмены удачи»:

Проснись и пой, проснись и пой,

Попробуй в жизни хоть раз

Не выпускать улыбку из открытых глаз.

Пусть, капризен успех, он выбирает из тех,

Кто может первым посмеяться над собой,

Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой.

Эфир слегка зашипел, а затем раздался глухой, размеренный голос диктора:

— Доброе утро, товарищи! Сегодня воскресенье, 12 сентября...

Иосиф зевнул, потянулся и понял: хоть он и в гостях, но пора вставать. На кухне уже звякала посуда — тетя Мотя, судя по всему, была на ногах. Коммуналка просыпалась.

— Как спалось? — спросила хозяйка комнаты, не оборачиваясь, продолжая ловко переворачивать блины на сковороде, от которой шел теплый, уютный аромат.

— Прекрасно! — ответил Иосиф, усаживаясь за стол, на

котором мерцал теплым золотом электрический самовар. Он стоял, статный и пузатый, с изогнутыми ручками по бокам, словно протягивал их для приветствия. Отполированная до зеркального блеска поверхность отражала нехитрое убранство коммунальной кухни и сидящего напротив за столом парня, чуть искажая их очертания. Сквозь вырезанные звездочки в конфорке на крышке самовара, где сейчас подогревался цветастый фарфоровый заварочный чайничек, мягко просвечивали солнечные лучи из окна. А из носика самовара едва уловимо поднимался пар.

— Желание загадывал?

— Какое еще? Зачем?

— Так принято! — улыбнулась она. — Есть поверье: если перед сном на новом месте загадать что-то сокровенное — обязательно сбудется.

— А я не знал...

— Эх, упустил ты, малОй, свой шанс, — рассмеялась гостеприимная хозяйка, подавая на стол стопку румяных блинов. — А мог бы уже сегодня быть миллионером... или как минимум лейтенантом!

Иосиф сидел за столом, медленно мазал сливочным маслом горячий блин. Он не смотрел на тетю Мотю — будто собирался с духом. Но, наконец, все же заговорил:

— Знаете... Я тогда, в июле, когда мы с вами в электричке из Москвы познакомились — я ведь вовсе не собирался поступать в это артиллерийское училище.

— А зачем тогда сюда ехал? — с полуулыбкой отозвалась женщина, продолжая жарить блины, но уже внимательнее прислушиваясь.

— Завалить экзамены. — Он выдохнул это слово, будто признался в преступлении. — Мне в военкомате предложили... Мол, съезди в большой город, погуляй, на государственном билете. А сдавать — не обязательно. Я и решил: поеду в Тулу, брат тут служит прапорщиком, живет недалеко, на улице Марата. Я на трамвае мимо его дома проехал. Только вот... брат оказался мне совсем чужим.

Тетя Мотя перевернула очередной блин чуть ли не со стуком.

— А потом, — продолжил он тише, — начальник училища, генерал, пожалел меня. Предложил на год остаться лаборантом, а через год, говорит, зачислим, как своих. Почти автоматом.

— Умный генерал, — буркнула Мотя, но глаз не подняла.

— Я вернулся в Аккемир. Думал, продолжу там работать и жить. С бабой Малей. А она... она будто меня уже вычеркнула. Там все как-то вдруг перекосилось. Внук с армии вернулся, жениться собрался. Я стал мешать. И мы... ну, разошлись. Я уехал.

Наступила пауза. В кухне стало слышно, как за окном по стеклу неспешно постукивают капли — утренний сентябрь начался с легкого дождя.

— А теперь, — он положил вилку, — теперь и вовсе ре-

шил: не хочу в армию. Не мое. Пойду на самоварный. Работать, как все.

Хозяйка медленно опустила сковороду и села напротив. Посмотрела на него пристально.

— Ну, Осип... Не скажу, что ты меня обрадовал. Ты у меня, считай, почти как внук, а я тебе бабка, значит, и скажу как бабка. Завод — это не только станки. Это мужики. И пьянки. И прогулы. И грязь — не только под ногтями. А в душе. Не дай себя в это затянуть. Ты ж не быдло, ты парень думающий.

Он молчал. Слушал. Кивал.

— В армии тяжело, да. Но там выправка, там порядок. Там ты каждый день сам себе и другим доказываешь, что ты человек. А на заводе... — она вздохнула. — На заводе таких, как ты, быстро ломают. Или от скуки сгниваешь, или сдуваешься.

— А если я не военный? — тихо спросил он. — Ну не мое это. Слушать команду, ходить по строю, шаг влево — самострел.

— А ты сам себе ответь, Осип. — Мотя взяла его ладонь в свои натруженные пальцы. — Где ты будешь чувствовать, что живешь по-настоящему? Не отсиживаешь, не прячешься — а живешь?

— Поработаю, присмотрюсь, — проговорил Иосиф, пробормотал Иосиф, ковыряя вилкой блин другой рукой. — А через год все равно в армию. Будет с чем сравнить...

Он усмехнулся — не то всерьез, не то для храбрости.

— Мне и в военкомате говорили, — добавил он чуть тише, — что во время срочной даже легче в училище поступить.

Тетя Мотя согласно кивнула, словно мысленно уже обсудила это решение с кем-то своим.

— Тоже логично. Армия — она характер выправляет. А там глядишь, сам и поймешь, твоя ли эта дорога.

Она потянулась к сковороде, ловко подцепила еще один горячий блин и переложила его на тарелку перед Иосифом.

— Ты ешь, солдатик, пока горячие. А разговоры — они не убегут.

Ее голос был хрипловатым, но теплым, как свежее молоко с рынка. Иосиф улыбнулся уголком губ. Было приятно — и просто, и по-домашнему.

— У меня тут еще один секрет, — тихо сказал он, опустив взгляд. — Я... немец. Только не фашистский, нет. Мои предки еще сотни лет назад переселились в Россию. Я просто... хочу, чтобы вы знали.

Тетя Мотя перестала шевелить блины на сковороде, бросила на него взгляд из-под бровей — не строго, а скорее с неожиданным интересом. А потом вдруг хмыкнула и усмехнулась:

— А я, между прочим, сперва-то тебя за еврея приняла!

— Серьезно? — изумился Иосиф.

— Ну а как! — пожала плечами она. — Когда малой бы-

ла, в Белоруссии, в доме у евреев прислуживала. Хорошая семья, не барствовали. Так вот — ты мне ихнего старшего сына напоминаешь: высокий лоб, волосы темные, нос правильный, и в глазах ум живой.

Иосиф невольно улыбнулся, но снова посерьезнел:

— Я просто... начистоту. Вы меня приютили, одели, накормили, как родного. А я не хочу... скрываться. Мне важно, чтобы вы обо мне все знали.

Тетя Мотя тяжело вздохнула и опустилась на табуретку напротив.

— Ну раз на то пошло... — проговорила она, глядя в окно, будто вспоминая что-то далекое. — Я тоже вроде здесь как враг народа. Раскулачили нас после революции. Всех. Дом отняли, скот угнали. Меня, пацаненкой, с родней сослали на Колыму. Брат мой, Ванька, от голодухи там сразу помер. А меня вытащила мамкина сестра, из Гомеля. Еле выпросила, забрала к себе. А то и мне бы хана пришла. Родители... долго не протянули. Закопали их там без креста и могилы.

Она помолчала, подперев щеку ладонью. Потом посмотрела на Иосифа с теплотой и усталой добротой:

— Знаешь, Осип... главное — человеком быть. А уж немец ты, еврей, татарин или, как моя подруга говорит, с Марса — это все, милый мой, второстепенное. Кстати, ты знаешь, наш «Штамп», куда ты собрался работать, тоже ведь кто-то из ваших основал. В старину тут патронный завод

был, частный. Купцу принадлежал — фон Гилленшмидт его фамилия. — То ли немец, то ли еврей — кто теперь разберет... Только одно ясно — не русский. Да и что тут удивляться — Тула издавна была городом мастеров. Их раньше сюда чуть ли не обозами везли, зазывали со всей России — и немало из Европы. Испокон веков здесь жили самые разные народы. Вместе строили, трудились, воевали, служили государству — каждый на своем месте. А земля всех приняла. Значит, и тебе тут место найдется.

В понедельник Иосиф отправился устраиваться на завод. Путь был не близкий, но вполне посильный — около двух километров. Его вызвалась сопровождать тетя Мотя, шла, как всегда, уверенно, чуть впереди, будто прокладывая для него не просто дорогу, а весь будущий путь.



Небо хмурилось, с утра моросил мелкий осенний дождь, пропитывая воздух свежестью. Вокруг — густая зелень: старые, многолетние деревья с толстыми стволами и раскидистыми кронами, как будто охраняли прохожих от лишних тревог. Их листья уже начали менять цвет, но все еще сохраняли летнюю силу и плотность.

Шли они короткой дорогой: напрямую через стадион, потом через знакомую щель в заборе, на улицу Глинки. Мимо трамвайной остановки, под ритмичные шорохи дождя по крытым ларькам, и далее вниз — мимо массивных корпусов Патронного завода, к шумному Веневскому шоссе.

По пути тетя Мотя, не теряя дыхания, завела разговор:

— Отпахала на этом заводе тридцать лет. Всякое довелось делать. Последние годы — в гальваническом цехе.

— А это что? — спросил Иосиф, стараясь не отставать.

— Металл в ванну опускаешь, химию туда, ток пускаешь — и на него тонкий слой другого металла налипает. Так делают, чтобы не ржавел или блестел, как новенький. Только вонючее все это дело. Нам там за вредность молоко давали. Каждый день — по поллитра.

— Ты туда лучше не суйся, — махнула она рукой...

На небольшой, вымощенной плиткой площади стояло здание управления завода «Штамп» — внушительное, старинное, с характерным фасадом в стиле дореволюционной промышленной архитектуры. Красный кирпич с белой декоративной отделкой по углам и над окнами придавал зданию некую торжественность и даже строгость. Высокие арочные проемы, симметричные ряды окон, беленые карнизы — все говорило о солидности и истории.

Перед зданием, прямо у входа на небольшом бетонном пьедестале возвышался гипсовый самовар — почти в человеческий рост. Когда-то он, видимо, сиял яркими красками и был предметом гордости, но теперь краска местами облупилась, облезла от дождей и солнца.

Под центральной аркой, напоминавшей вход в крепость, располагалась проходная — сердце заводской жизни. А чуть поодаль на стенде — три ордена: Орден Трудового Красного

Знамени РСФСР, Орден Отечественной войны I степени и Орден Октябрьской революции. Награды говорили сами за себя: «Штамп» — не просто завод, а гордость промышленной Тулы.

Трудоустройство прошло почти по-семейному — тепло и без лишней волокиты.

В отделе кадров тетю Мотю узнали сразу. Начальник, сухощавый, в очках, с аккуратной прической и добродушной улыбкой, приподнялся из-за стола:

— Матрена Батьковна! Как ваше драгоценнейшее здоровье? Давненько вы у нас не бывали. Неужто соскучились по родному цеху?

— Товарищ Богомазов, благодарю, держусь пока. — весело кивнула она и, подтолкнув Иосифа вперед, добавила: — Вот, привела вам внука. Надо пристроить. Поищите что полегче и с хорошей зарплатой.

Хозяин кабинета взглянул на парня поверх очков, прищурился с интересом:

— На благо Отчизны у нас все должности хороши, — ответил с полуулыбкой. — Но скажу честно, в токарях сейчас особенно нуждаемся. Цех №22 прямо руками разводит. Работы — вал. Освоится, если желание есть. Да и профессия мужская, нужная.

— Я справлюсь, — быстро отозвался Иосиф.

— Вот и славно, — хлопнул ладонью по папке главный по кадрам. — Пойдешь учеником токаря.

— Оформляйте, — кивнула тетя Мотя с гордостью и облегчением. — Он у меня толковый. Не подведет.

— Работал где? Имеешь трудовую книжку? — строго, но без нажима поинтересовался кадровик.

— Да, в совхозе, — кивнул Иосиф. — Но мне ее не дали на руки. Сказали, пришлют позже.

— Не беда, — спокойно отозвался товарищ Богомазов, делая пометку в журнале. — Сделаем официальный запрос. Пока она в пути — пройдешь медкомиссию. Это у нас строго, без справки — никуда. А там уж на работу.

Он поднял глаза и добавил с легкой улыбкой:

— В две смены. Привыкай, сынок, у нас завод — не курорт. Но люди держатся — и ты справишься, — проговорил начальник с той особой интонацией, в которой слышались и забота, и производственная требовательность.

Он закрыл папку, потянулся за другой, и мельком спросил:

— Ты где живешь-то?

— Нигде... Я позавчера только приехал, — ответил Иосиф, опустив взгляд.

Тетя Мотя приосанилась, уже открывая рот, но кадровик махнул рукой, словно все давно решил:

— Не проблема. У нас общежитие заводское — лучшее в районе. Вон, Матрена Батьковна там сама вахтерит порой. Устроишься на работу и получишь в нем свое место.

Он вытащил из ящика маленький бланк:

— За проживание три рубля в месяц. Сумма посильная. Удержим из первой полочки.

Богомазов протянул Иосифу листок с направлением на медкомиссию и подмигнул:

— Добро пожаловать в наш славный трудовой коллектив!

На обратном пути они завернули в заводскую поликлинику — обычное двухэтажное здание с длинным фасадом, утопающее в зелени старых деревьев. Ветер чуть покачивал кроны, на дорожке потрескивали под ногами прошлогодние семечки тополя. Внутри пахло йодом, бумагой и чем-то еще — давней медицинской рутиной.

У стойки регистрации тетю Мотю встретили как родную:

— Матренушка, ты все не сдаешься? — пошутила дежурная медсестра.

— А куда я денусь, Зина! — усмехнулась та. — Вот, нового бойца к вам привела.

Иосифа сразу внесли в журнал, завели карточку.

— Завтра можешь начинать обход специалистов, — строго сказала медсестра, листая бланки. — И принеси справку о прививках.

— А где ее взять?

— Там, где тебе их делали.

— В школе, в селе Казахстана...

— Ну, тогда напиши туда, потребуй у фельдшера, — нахмурилась медсестра. — А то без нее придется все колоть заново.

Тетя Мотя кивнула:

— Все сделаем. Главное — начал путь. Остальное — приложится.

Время перевалило за полдень, когда они, немного уставшие, но довольные, возвращались домой. В воздухе стоял влажный запах листвы после недавнего дождя, с деревьев по-прежнему капало, и редкие прохожие торопливо перебегали под кронами. Тетя Мотя шла молча, задумчиво поглядывая себе под ноги. И вдруг, словно сдерживаемая мысль все-таки прорвалась наружу, она произнесла — с ноткой то ли легкой обиды, то ли разочарования:

— Осип... а ведь ты мог бы и у меня жить. Чего тебе по казенным домам скитаться? Поди детдом еще кошмарами снится.

Иосиф остановился на секунду, чуть опустив голову, и, не глядя ей в глаза, сказал тихо:

— Да нет... Я же там и часа не провел. Сбежал. Двадцать километров по лесопосадке в родной поселок шел. Пешком. Боялся на поезд или попутку сесть — а вдруг там брат с милиционером, которые меня отвезли и сдали в детдом.

Тетя Мотя тяжело вздохнула.

— Бедный ты мой. А я-то что... просто подумала: у меня место есть. Только скажи.

— Неудобно вас теснить, — тихо сказал Иосиф, — вы и так уже вторую ночь у соседки спите...

— Ну, неудобно, — подхватила с усмешкой тетя Мотя, —

спать на потолке — одеяло все время спадает!

Он удивленно хмыкнул, но не перебил, а она добавила, слегка смягчившись:

— Так купим тебе раскладушку. Диван быстро не достать, это точно... Хотя, наверное, ты и прав — в общежитии кровать нормальная, свое место. Главное, чтобы хорошие жильцы попались. Но не переживай, это я сама проверю — вахту-то я там держу.

Она махнула рукой в сторону небольшой двери с белой табличкой.

— Айда, зайдем вон в магазин. Мне творог купить надо. И тебе чего-нибудь к чаю возьмем. Ты ж теперь у нас рабочий человек.

Не успели они перешагнуть порог, как по тесному, наполненному запахом свежей выпечки магазинчику прокатился звонкий детский голос:

— Дядь Ёсь!

Иосиф вздрогнул от неожиданности, обернулся — и тут же узнал белокурую девчушку с веснушками и большими синими глазами. Она стояла у прилавка, сжимая в руках сетку с пустыми бутылками.

— Наташка... — растерянно улыбнулся он.

— Племянница. Дочь моего брата, прапорщика, — тут же пояснил он тете Моте.

— Ты что, одна пришла? — спросил он девочку, наклонившись к ней.

— Ага, — серьезно кивнула она. — Бутылки сдать. Хлеб и молоко купить надо. Мамка дома осталась — младший братик орет.

— Хозяюшкой растешь, — с доброй улыбкой похвалила тетя Мотя, поглаживая девочку по светлой макушке. — Сразу видно — толковая. Тебе сколько годков то?

— Первого сентября семь исполнилось. — Наташа гордо выпрямилась и закинула плечи.

— А вы тут рядом живете?

— Через трамвайную линию. Вон там, где бараки и клен кривой.

— Ну и славненько, — сказала тетя Мотя. — Возьмем сейчас пирожных и тебя до дома проведем. Познакомимся, чай попьем...



Вид барачков, куда их привела Наташа, поразил Иосифа своей безысходной ветхостью. Двухэтажный дом, когда-то, возможно, теплый и уютный, теперь казался совсем перекошенным от времени. Потемневшие от дождей бревна, облупившиеся ставни, покосившиеся двери. Окна смотрели на улицу тускло и молчаливо — как старики, которые уже давно ни на что не надеются. Сучковатые деревья цеплялись ветками за стены, будто пытались подпереть разваливающееся строение. Возле крыльца лежало грубо отесанное бревно — будто кто-то не достучался в дверь, устал и опустил на землю.

Даже мазанка в Аккемире, с ее осевшими стенами и трес-

нутыми глиняными полами, выглядела живее и теплее. А здесь — только сырость, серая краска времени и ощущение, что дом вот-вот растворится в пыли прошлого.

Наташа первой юркнула в входную дверь, ловко проскользнув внутрь, будто привыкла к этому маневру. Иосифу и тете Моте пришлось пригнать головы, чтобы войти в узкий и темный коридор. Воздух внутри был спертым, пахло гнилыми досками и чем-то кислым — типа квашенной капусты.

— Наша комната последняя, — пояснила девочка и, взяв дядю за руку, добавила: — Держись за меня, я тут на ощупь все знаю.

Они шагали осторожно, стараясь не споткнуться о шербатые доски пола.

Где-то в глубине коридора, из-под приоткрытой двери пробивалась тонкая полоска света, указывая направление. Изнутри доносился жалобный плач ребенка.

— У Антошки зубы режутся. Горланит день и ночь, — без особого удивления сообщила Наташа.

На их голоса в дверь выглянула хозяйка.

— Моя сноха Оля, — представил ее тете Моте Иосиф.

— Вообще-то, я тебе невесткой прихожусь, — лениво отозвалась Оля.

Неопрятно одетая, в ляпистом халате и с растрепанными волосами, она встала в дверях — словно загораживая свою жизнь от чужих глаз.

Пара натянутых, ни к чему не обязывающих фраз, словно по сценарию. Тетя Мотя молча протянула через порог сверток с пирожными, на которые Оля кивнула без особой благодарности. Простились наспех.

— Дядь Ёсь, а ты разве не останешься? — с легкой жалобой в голосе спросила Наташа. — Чай попьем...

Иосиф присел на корточки, посмотрел ей в глаза и ласково погладил по плечу:

— В следующий раз, моя дорогая. Обещаю. Теперь мы считай соседи. Я сегодня на самоварный завод устроился, представляешь? Мне еще надо успеть постель в общежитии получить, — он улыбнулся, стараясь говорить весело, но внутри было немного тяжело от грусти и внезапной нежности к этой маленькой девочке.

— А я тебе рисунок подарю! — уже повеселев, пообещала Наташа и помахала рукой на прощание.

Улица встретила их свежим воздухом. Они почти синхронно вздохнули с облегчением.

— А я и не знал, что они так плохо живут... — удивленно проговорил Иосиф. — Оля казалась мне такой заносчивой, будто из зажиточных.

— Да все так. Как бомжи. — с сожалением качнула головой тетя Мотя.

Общежитие завода располагалось буквально в десяти шагах от дома тети Моти — вытянутое трехэтажное здание с

двумя подъездами.

— Открыт только первый, — пояснила она по дороге. — Второй изнутри кирпичной кладкой замуровали. Так спокойнее. Вход строго через вахтершу.

Комендантом оказалась высокая, статная женщина лет сорока, с прямой спиной и суровыми чертами лица. В ее голосе, грубоватом и властном, сразу угадывался многолетний опыт управления мужским общежитием — местом, где не до сантиментов.

— А, Мотя. Что надо? — спросила она, отодвигая журнал регистрации.

— Вот, Антонина Семеновна, показала новенькому дорогу сюда. Его оформляют к нам на завод, в цех номер 22.

Строгий взгляд комендантши окинул Иосифа с головы до ног.

— Давай направление.

— Так у него пока нету, — вступилась за парня тетя Мотя. — Сперва медкомиссию пройти должен, справку о прививках дожидаться.

— У самого что, язык отсох? Чего ты все за него отчитываешься? Знаешь же правила — вход только по заводскому пропуску. Нет пропуска — гуляй отсюда.

— Так я подумала... Он же издалека к нам, из Казахстана. Круглый сирота. Пожалейте, Антонина Семеновна? А то ему и податься некуда. Тут, на Марата, в коммунальном бараке живет его брат — двое детей, понимаете? Там яблоку негде

упасть.

— Вот оно мне все это надо?! — комендант даже встала из-за стола. — Каждого уважь, каждому подсоби... А чуть что — с меня одной и спросят!

Тетя Мотя взяла Иосифа за руку и молча потянула к выходу.

— И куда ты его повела?! — выкрикнула Антонина Семеновна. — Прямо все такие обидчивые. Думают, у меня сердца нет. Что я сироте не помогу?!

Она тяжело вздохнула, уселась обратно и буркнула:

— Гони паспорт и три рубля. Заселим тебя... Под твою, Мотька, ответственность. На втором этаже, в шестнадцатой комнате у входа должна быть свободная кровать. Покажи ему, что и как у нас тут.



Комната, куда поселили Иосифа, была страшно прокурена и предельно проста: пять металлических кроватей с тонкими, вялыми матрасами. Местами вата в них сбилась и топорщилась буграми, наматрасник был порван и небрежно заштопан.

У каждой кровати — табуретка вместо тумбочки. Посреди комнаты стоял обшарпанный стол с облупленными краями. Одна из ножек была наполовину сломана и грубо сколочена из двух неотесанных палок — будто наложили шину.

«Надо же, с какой силой тут кто-то постарался...» — мелькнуло у Иосифа, и где-то внутри на секунду шевельнул-

ся страх.

Потертая занавеска на окне с розоватыми цветочками висела приспущенной — от постоянного прикосновения ее край был закопчен и пожелтел.

На стенах — облупившаяся краска бледно-зеленого цвета, кое-где торчали гвозди, на которых, возможно, когда-то висели полотенца или фотографии. Возле двери вбито несколько крючков — под куртки и пальто. Над одной из кроватей — самодельная полка из доски и двух уголков.

Душ и туалет были общими — один на весь этаж. Судя по расположению дверей, комнат здесь было двадцать пять, по обе стороны узкого коридора.

— Это ж минимум на сто человек, — пробормотал Иосиф, прикидывая, сколько тут народу по утрам толпится.

На удивление санитарные комнаты оказались очень чистыми, буквально сверкали.

— Комендантша спуску уборщицам не дает, — пояснила тетя Мотя. — Проверяет их работу по нескольку раз в день. Если что не по-еешному — заставляет вылизывать каждый угол.

Спустившись по лестнице второго подъезда, где дверь действительно оказалась замурованной изнутри кирпичной кладкой, они вышли прямо в кухню общежития. Помещение было вытянутое, с тусклым светом из двух окон, под которыми стояли две выдавшие виды газовые плиты, каждая с четырьмя конфорками. Стены по бокам от пола до потолка

занимали сбитые из фанеры шкафчики — с подписями, местами выцветшими, местами сорванными.

— Выберешь себе, какой пустой, — тихо сказала тетя Мотя. — Только ничего ценного здесь не оставляй. Видишь сам — без замков. Заберут — и не спросят.

Справа от входа возвышался огромный цинковый электрический самовар, размером с маленькую цистерну.

— Литров сто вмещает, не меньше, — пояснила тетя Мотя. — Вахтеры обязаны следить, воду вовремя подливать.

Иосиф осторожно дотронулся до металлического корпуса, будто желая убедиться, что он и вправду горячий.

— Его одного на весь Аккемир бы хватило — всех чаем напоить, — усмехнулся он, от души пораженный габаритами.

Подозрительный тип

Иосиф постепенно обживал свой угол в общежитии. Приобрел самую необходимую посуду: небольшую кастрюльку, сковороду, нож, вилку, ложку — все простое, но впервые в жизни — свое. А еще у него появилась эмалированная кружка — подарок от комендантши. Белая, с металлическим ободком по краю, звенящая от малейшего прикосновения.



— Приданное на новоселье, — сказала Антонина Семеновна, чуть прищурившись, с тем особым выражением, какое бывает лишь у людей, привыкших не баловать, а воспитывать — скрывая доброту за привычной строгостью. — Наш завод к Олимпиаде таких кружек наштамповал — мама не горюй!

На белоснежной эмали кружки ему улыбался Мишка — тот самый, олимпийский. Символ надежды и доброты. Его мех был аккуратно прорисован, словно стежками коричневого мулине: каждая ворсинка — на своем месте. На поясе — пять олимпийских колец, знак единства континентов...

В один из дней тетя Мотя решила провести Иосифа по всем торговым точкам в округе — показать, где и что можно купить.

Их, как оказалось, было совсем немного, особенно для крупного заводского района. Иосиф даже удивился: в Туле, в промышленном сердце страны — и так скромно? В родном казахстанском поселке, несмотря на его размеры, работало целых пять магазинов. А тут...

На углу улиц Шухова и Кутузова высился универсам — белое, квадратное здание с большими стеклянными витринами, будто вставшими на дыбы. У входа — привычная очередь. Кто с авоськой, кто с газетой в руке, кто с пустым взглядом, вросшим в асфальт. Универсам был центром повседневной жизни — здесь покупали все: от хлеба до соли.

Метров в двухстах по Кутузовской улице, ближе к трамвайной остановке, стоял магазин с красной вывеской «Мясо — Рыба». Внутри пахло исключительно селедкой и треской, как будто все остальное — лишь декорации.

Чуть поодаль от универсама, в глубине двора, притулившись к торцу жилого дома, стоял овощной магазинчик. Небольшой, с потемневшей вывеской «Овощи – фрукты», он пах свежей капустой, морковью и старым деревом. На полу — деревянные поддоны с картошкой вперемешку с проросшими клубнями и пересохшей шелухой лука. За прилавком — вечно недовольная продавщица в белом фартуке, которая будто передавала по наследству свое ворчание вместе с ве-

сами и гирьками.

Напротив, у трамвайной остановки, стоял ларек с мороженым. Маленький, покрашенный белой эмалью, с вывеской «Пломбир».

Рядом с ним — газетный ларек, где Иосиф почему-то невольно задержался. Стопки «Правды», «Труда», «Комсомольской правды», «Известия», а еще журналы — «Наука и жизнь», «Огонек». За прилавком сидела сухонькая старушка в очках, с вязаным платком на плечах. Казалось, она работала в этом ларьке с самого его открытия и знала не только весь район, но и кто какие газеты берет на протяжении десятилетий. Протягивая свежую прессу, непременно добавляла с хитрым прищуром:

— Вот это возьми, — протянула она сутулому мужчине октябрьский номер «Здоровья», где на обложке была изображена женщина в красном костюме, с гладко уложенными темными волосами и добрым, уверенным лицом. На лацкане пиджака — значок депутата Верховного Совета. — Там как раз статейка про твой радикулит. С картинками. Глядишь — поможет тебе до пенсии дожить.

Следующему — улыбчивому, усатому, в потертой кепке и с вечной искоркой в глазах — старушка протянула свежий номер «Крокодила»:

— Сегодня анекдоты про тещу. Как ты любишь.

На обложке журнала — синяя кошка и розовый поросяенок, наряженные женихом и невестой. Стоят у дверей

ЗАГСа, держась за лапы. Кошка в фате и с букетом, поросяенок — галантно улыбается, как будто обещает вечное счастье. Вокруг — пышная арка из цветов, амурчики трубят в фанфары, все говорит о романтике и чистых чувствах.

Но стоит приглядеться — и становится ясно: это вовсе не звери, а копилки. Щели для монет четко видны на их спинах. Так сатира журнала без слов делает свой вывод: «Брак по любви» — это, конечно, красиво. Но когда сходятся две копилки, чувства тут явно вторичны. Главное — капитал. Деньги тянутся к деньгам.

А женщине в плаще и с хозяйственной сумкой вручила «Работницу»:

— Это тебе — и про политику, и про женитьбу. Глядишь, на последней странице и жениха сыщешь... себе или засидевшейся в невестах дочке.

Покупатели брали газеты и улыбались — не столько от газет, сколько от ее добрых, точных слов.

А в стороне, прямо у обочины, стояла пивная бочка — желтая, с вмятиной сбоку. Оттуда разливали по бидонам и стеклянным банкам нефilterованное живое пиво. Очередь — вечно мужская, с мятыми кепками, с авоськами в которых проглядывались сушеные леши. Пить на месте было запрещено, но, как водится, все пристраивались у ближайшей ограды.

Через дорогу — аптека с вечным запахом валерьянки.

Ниже по улице — парикмахерская Изнутри доносился за-

пах одеколона и лака для волос. Сквозь окно было видно, как женщинам делали химическую завивку.

И наконец — фотоателье, издалека пахнущее проявителем и временем. На стенде за стеклом — выставка лучших работ: новобрачные, школьники в форме, дети с огромными бантами и старики с медалями.

Иосиф медленно шел с тетей Мотей по этим местам, и в каждом — чувствовалась жизнь. Неспешная, не всегда легкая, но живая, настоящая. Такой открывалась ему Тула — город заводов, черного хлеба, самоваров и запаха газетной краски.

Зашли и на ближайший базарчик — скромный, полупустой. Между лотками прохаживались редкие покупатели, воздух был напоен запахами квашеной капусты, копченой рыбы и осенней сырости.

За одним из прилавков они издалека заметили Галину Николаевну. Перед ней, аккуратными кучками, лежали груши — мелкие, с темными пятнами, совсем не аппетитные на вид.

— Пробуй, — предложила тетя Мотя Иосифу, подталкивая его вперед.

— Здрясте! А ничего, что это мои?! — возмутилась Галина Николаевна, делано строго. Но было ясно, что обижается она понарошку. — Ешь, Осип. Они ужасно вкусные! Язык проглотить можно.

Иосиф осторожно взял одну грушу, долго крутил ее в ру-

ках, прежде чем найти на кожеце небольшое зеленоватое пятно — единственное, где не было характерных темных прожилок, похожих на гниль.

— А как сорт называется? — поинтересовался он, с любопытством взглянув на продавщицу.

— «Дикарка», — ответила Галина Николаевна. — У нас за домом таких тьма тьмущая растет. Но ты попробуй — с виду она неказиста, а вкус... как у меда с легкой кислинкой.

— Раньше они полностью зелененькие с розовыми боками были... — сокрушалась Галина Николаевна, глядя на груши, будто на своих детей. — А теперь вот, смотри — вся кожа в пятнах.

Она вздохнула, отложила одну сторону и добавила, понизив голос:

— Это все из-за дыма, из-за заводских выбросов. Ты заметил, какое небо над Криволучьем? Фиолетово-оранжевое! Прямо как закат, а ведь сейчас день. А там, между прочим, металлургический завод...

Она вдруг замолчала, прищурившись и глядя куда-то вверх — будто пыталась сквозь серое, затянутое дымкой небо разглядеть хоть клочок прежнего, чистого. А потом, словно спохватившись, резко принялась смахивать груши с прилавка в алюминиевое ведро, не разбирая, спелые или нет.

Иосиф и тетя Мотя невольно посмотрели по сторонам. С чего бы вдруг такая поспешность?

— Что за шухер? — шепнула тетя Мотя, чуть наклоняясь

к подруге. — Никак милицейский патруль, что ли, замечала?

Галина Николаевна будто не услышала — продолжала пересыпать груши в ведро, упрямо глядя вниз, точно и вправду что-то рассматривала среди фруктов.

— Ну что, Осип, — словно для отвода глаз, спешно заговорила Галина Николаевна, — как у тебя с работой?

— Пока только медкомиссию прохожу, — ответил он. — Жду документы из Казахстана, без них оформить не могут.

— Главное, что крыша над головой есть и теплая постель под боком, — кивнула она с участием. — Остальное приложится.

Потом вдруг мягко сунула ему в руки ведро с грушами.

— Держи. Погрызешь на ночь... Они страшные с виду, зато сладкие, как детство.

Схватив из-под прилавка небольшой узелок, Галина Николаевна ловко сунула его себе под короткую, широкую куртку на меху.

— У киоска на входе — подозрительный тип, — прошептала она, будто пряча не только узелок, но и свои мысли. — Который день нас тут пасет.

Подхватив подругу под руку, она энергично подтолкнула ее вперед, и уже через мгновение обе женщины, увлекая за собой Иосифа, поспешно направились к противоположному выходу с базарчика.

Иосиф все же обернулся. У газетного киоска стоял муж-

чина в сером, давно немодном пальто с засаленными воротниками и ярко-синим шарфом, как пятно среди осенней сени. Его руки были глубоко засунуты в карманы, а взгляд — внимательный, цепкий, будто выискивал не покупку, а ошибку. Скуластое лицо без эмоций, словно маска. Иосифу показалось, что глаза у него холодные, как у рыб, — не смотрят, а просвечивают.

Парнишка быстро отвернулся и прибавил шагу. Что бы ни творилось — это не его дело. Или пока не его...

Прививка совести

Надежда вернулась в тот день с работы очень поздно. Хотя это было скорее правилом, чем исключением. Единственному фельдшеру на весь совхоз “Пролетарский” с четырьмя отделениями, раскиданными по бескрайней степи, порой казалось, что она и вовсе не снимает с себя ни халата, ни белого колпака. А стетоскоп, висевший на шее, будто прирос — как амулет, как личный знак ее вечного дежурства. Работы хватало на троих, а успевать приходилось одной.

Она вошла в дом, не включая свет. Лишь полоска вечернего морозного неба, пробиваясь сквозь стекло, серебрила край стола и табурета — единственных свидетелей ее молчаливого возвращения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.